МЭРИ СТЕЙН
ДЕЛЬ РОККО
ПЕРЕПРОШИВКА
СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ
18+

Мэри Стейн

Дель Рокко. Перепрошивка

«Автор»

2026

Стейн М.

Дель Рокко. Перепрошивка / М. Стейн — «Автор», 2026

Моя жизнь была идеальной и предсказуемой, как танец, отточенный до идеала. Элитный колледж. Парень-мажор. Правильный статус. Я жила в золотой клетке и думала, что так будет всегда. Пока одно утро не изменило всё.Отца подставили. Парень испарился, едва запахло проблемами. Вчерашние друзья теперь тычут в меня пальцами и злорадно смеются в спину.Я не знала, что бизнес отца — как тяжелобольной на ИВЛ. Что кто-то наблюдает из тени. Что он знает меня лучше, чем я сама. Что моя семья хранит тайны, которые страшнее врагов. И что я стану пешкой в игре.Или не пешкой?«Дель Рокко. Перепрошивка» — это не классическая история о любви, хотя она там тоже есть. Это история о семье, которая не ломается. О женщине, которая перестаёт быть декорацией. И о городе, где правда всегда стоит дороже денег.

© Стейн М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Слова автора и предупреждение 5
Пролог. Порог дозволенного 7
Глава 1. 9
Глава 2. 19
Глава 3 34
Глава 3.2 43
Глава 3.3 47

Мэри Стейн
Дель Рокко. Перепрошивка

Слова автора и предупреждение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОДЕРЖАНИИ

Эта книга содержит сцены и темы, которые могут быть некомфортны для некоторых читателей. Пожалуйста, ознакомьтесь перед чтением.

Рекомендуемый возраст: 18+

1. Сцены физического насилия

Избиение (удары руками, ногами, применение силы)

Применение холодного оружия (ножевые ранения, порезы)

Огнестрельные ранения

Сцены с ограничением свободы (связывание, принудительное удержание, похищение)

2. Сцены психологического и эмоционального насилия

Угрозы (в том числе угрозы жизни и здоровью)

Унижение и оскорбления

Манипуляции и давление

Сцены допроса с применением силы

3. Описание крови, ран и последствий насилия

Подробные описания кровотечений и повреждений

Визуализация следов насилия (синяки, ссадины, шрамы)

Описание физической боли с детализацией ощущений

4. Сцены убийств

Гибель персонажей

Демонстративное насилие (казни, показательные расправы)

Убийства в целях самозащиты

5. Триггеры

Сцены употребления алкоголя и табака (сигареты, сигары, виски, абсент — как часть атмосферы и сюжета)

Откровенные сексуальные сцены (не порнографические, но детальные)

Нецензурная лексика (мат)

Криминальные разборки, контрабанда, незаконная торговля

Описание посттравматического стресса (ПТСР): навязчивые воспоминания, кошмары, тревожность, панические атаки

6. Нарушение личных границ

Сцены принуждения (психологического, физического)

Отсутствие согласия в некоторых сценах (в рамках сюжета, не пропаганда)

Это художественное произведение. Все персонажи, события и организации вымышлены. Автор не пропагандирует насилие, преступный образ жизни, употребление психоактивных веществ или нарушение личных границ.

Привет, дорогой читатель.

Кто уже знает меня — я Мэри Стейн, автор эпической саги «Абсолют». Кто впервые — добро пожаловать. Я пишу тёмное фэнтези, где платят кровью, а не вздохами у костра. И вот решила сменить курс.

Перед вами — **«Дель Рокко»**. Трилогия. Возможно, в дальнейшем будет расширение, и на сцену выйдут другие ключевые персонажи. Но пока — это история Амаэль. Девушки, которая думала, что знает свою жизнь. Пока одно утро не перечеркнуло всё.

Я пишу в кинематографическом стиле. Объёмно. Плотно. С повторами — и это осознанный приём. Цикличные возвращения к одним и тем же тяжёлым мыслям — не графомания. Это **глубокий психологический реализм персонажа** . Именно так работает суггестия и нагнетание саспенса. Именно это заставляет читать взахлёб, а не пролистывать по диагонали.

У меня авторские миры. Но так как это мафия и современный мир, сеттинг приближён к реальности. Здесь не будет ванили. Здесь есть чёрный юмор. Психологизм. Детектив. Криминал. И кровь — которая иногда пахнет железом, а иногда — вином.

Добро пожаловать в Виера-Морру.

Город, где роскошь соседствует с подвалами. Где идеальные газоны скрывают трупы. Где девушка с ледяными голубыми глазами учится видеть швы в реальности — и не отворачиваться.

Здесь не будет спасения. Будет выбор.

Приятного чтения.

P.S. Если вы ищете историю о любви — она здесь есть. Но она не будет главной. Главное — семья, которая не ломается. И правда, которая всегда стоит дороже денег.

Пролог. Порог дозволенного

Особняк Торричелли не спал. Он сдерживал дыхание.

В библиотеке, обшитой тёмным орехом, воздух был плотным от табачного дыма, остывшего кофе и вековой усталости. Тяжёлые бархатные портьеры поглощали звуки сицилийской ночи, оставляя внутри лишь тихий гул кондиционера да редкий звон льда в хрустальных стаканах. Пепел в пепельницах давно остыл. Семь мужчин за длинным столом молчали. Официальная часть закончилась: голоса подсчитаны, протоколы подписаны. Теперь говорили не функции, а люди, которые слишком долго держали этот мир на своих плечах.

Джузеппе Торричелли сидел во главе стола, откинувшись на спинку кресла. Восемьдесят лет почти не тронули его лицо — оно было сухим, как старая бумага, но без глубоких борозд. Только глаза выдавали всё: ясные, и в этой ясности было больше усталости, чем в любой морщине. Он смотрел в пустоту над полированной столешницей.

— Он снова перегибает, — тихо произнёс Антонио Риццо, нарушив тишину. Голос — как шелест сухой бумаги.

Карло Морено, сидящий справа от Торричелли, медленно повернул в пальцах сигару. Пепел сорвался и упал, тихо, как снег.

— Месть женщине, которую он потерял тридцать пять лет назад, — сказал он, и в его голосе не было ни осуждения, ни сочувствия. Только факт, голый и холодный, как эта комната. — Он воюет с призраками, Антонио. А призраки не прощают ошибок живым.

Джованни Эспозито, прилетевший из Америки специально на этот совет, подался вперёд, опершись локтями о стол. От него пахло дорогим одеколоном и усталостью перелёта.

— Патриарх ждёт, — сказал он просто. Имя прозвучало не как просьба, а как напоминание: трон пуст не потому, что нет достойных, а потому, что достойный выбрал ждать.

Торричелли наконец поднял глаза. Взгляд медленно, с тяжестью векового камня, скользнул по лицам: Риццо. Морено. Эспозито. Бьянки. Конти. Романо. Феррари. И все они знали: баланс трещит.

— Он думает, что мстит времени, — произнёс Торричелли. Голос его был низким, ровным, без эмоций. Но каждое слово ложилось на стол тяжелее свинца. — Он не понимает, что время уже выбрало сторону.

Франческо Романо, чей голос всегда был последним и решающим, до сих пор молчал. Он сидел в тени, и свет лампы выхватывал лишь его руки, сложенные на столе. Сейчас он медленно разжал пальцы.

— Если мы позволим ему продолжать, — сказал он, и голос его был ровным, как лезвие, — мы признаем, что старые обиды сильнее нового мира. А это значит, что мы сами стали призраками.

Тишина снова накрыла комнату. Но теперь она была другой. Не ожиданием. Решением.

Торричелли взял стакан. Янтарная жидкость качнулась, ловя свет. Он не стал пить. Просто подержал его в руке, чувствуя холод стекла, и поставил обратно. Звук был коротким. Как приговор.

— Пусть играет, — сказал он. — Пока его удары бьют в пустоту, он безопасен. Патриарх справится сам. Система должна очиститься через него, а не через нас.

Он замолчал, и в этой паузе повисло невысказанное предупреждение.

— Но если он переступит порог дозволенного... Если он коснётся крови, которая не является частью этой игры... — Торричелли посмотрел на пустое кресло по правую руку от себя. Кресло, которое стояло пустым тридцать пять лет. — ...мы не будем ждать возвращения Патриарха. Мы вырвем эту страницу сами.

Его голос не повысился. Он стал тише.

Он поднялся. Кресло не скрипнуло. Даже мебель в этом доме знала своё место.

— Он вернётся, когда придёт время. А до тех пор... мы держим дверь открытой. И нож — заточенным.

Один за другим доны начали подниматься. Никаких прощаний. Никаких рукопожатий. Только тихий шелест дорогой ткани, стук закрываемых дверей, звук удаляющихся шагов по мраморному полу коридора. Они уходили не как участники заговора, а как хирурги, которые только что согласовали план операции. Пациент ещё жив. Но скальпель уже блестит.

Торричелли остался один.

Он подошёл к окну. За тяжёлыми портьерами была ночь Сицилии — тёплая, влажная, пахнущая морской солью и старыми камнями. Где-то далеко внизу мерцали огни Палермо, живые, суетливые, не знающие, что их судьба только что была решена в этой комнате.

Он смотрел на эти огни и думал о человеке, который сейчас, возможно, сидит в кабинете из тёмного дерева в Виера-Морре, пьёт виски и ждёт. Ждёт не власти. Ждёт момента, когда власть сама придёт к нему на поклон.

А ещё он думал о девушке с ледяными голубыми глазами, которая сейчас смеётся на вечеринке в Инзинии, не зная, что её смех — это последнее эхо перед тишиной.

— Играй, — прошептал Торричелли в темноту. И в этом шёпоте не было угрозы. Только усталая, абсолютная уверенность палача, который знает: приговор уже подписан. Осуждённый сам подойдёт к плахе.

Он погасил лампу. Комната погрузилась во тьму. Но два кресла по правую руку от него, казалось, всё ещё хранили тепло тех, кто должен был их занять.

Часы запущены. Порог обозначен. И тот, кто его переступит, не услышит предупреждения. Только звук падающего лезвия.

Глава 1.

— Ами, сегодня вечеринка у Луизы. Её родители опять укатили в Куршевель. Пойдём?

Кьяра сидела на парте, болтая ногами в дорогих кроссовках. От неё веяло новым парфюмом — она меняла его каждые две недели, как перчатки. Голос звонкий, непробиваемый. Как её очки, которые она носила даже в помещении. Особенно в помещении.

— Ты не устала из дома в дом прыгать? — тихо спросила Софи.

Она не смотрела на Кьяру. Она аккуратно складывала конспекты в папку, и в этом движении была та самая мягкая уверенность, которую я любила больше любых слов. Софи никогда не осуждала — просто была рядом.

Кьяра опустила очки на переносицу. Движение было ленивым, отработанным до автоматизма.

— Мне двадцать, а не шестьдесят, чтобы сидеть и читать газеты в выходные, — парировала она, и в её тоне не было злости. Только уверенность человека, для которого мир создан ради удовольствия.

Софи закатила глаза. Не осуждающе. С любовью.

Я посмотрела на них обеих. Кьяра — фейерверк. Ярко, шумно, безопасно. Софи — тёплый плед. Уютно, надёжно, настояще. Передо мной лежал учебник по макроэкономике. Тяжёлый, глянцевый, пахнущий новой бумагой. Я закрыла его. Звук глухой, привычный. Как выдох.

— Пойдём, Кьяра. Ты же не отстанешь от нас, — сказала я. В голосе — ни усталости, ни энтузиазма. Просто факт. — Только у нас впереди ещё три пары.

— Лааааадно, — лениво протянула Кьяра, и в этом звуке было столько облегчения, будто я только что спасла её от смертельной скуки.

Мы поднялись. Стулья скрипнули по полированному полу аудитории. Воздух — прохладный, пахнущий дорогой чистотой. За окном идеальные газоны Инзинии сияли под солнцем. Ни одной соринки. Ни одного изъяна. Мир, в котором всё было именно так, как должно быть.

Я пошла вслед за подругами, чувствуя, как каблук стучит по мрамору коридора — ровно, уверенно, без единой лишней ноты. Три пары тянулись спокойно. Профессор монотонно рассказывал о рыночных механизмах, и его голос сливался с гулом кондиционера. Я делала пометки в блокноте, рука двигалась автоматически. Вечеринка у Луизы означала громкую музыку, коктейли и разговоры, которые ни к чему не обязывают. Но это был наш ритуал. Наш способ быть вместе.

Когда прозвенел звонок, мы вышли на улицу. Субтропический жар Виера-Морры сразу обволок кожу, пахнущий океаном и выхлопами дорогих машин. Солнце было тёплым, небо — безупречно голубым.

— Ну что, домой переодеваться? — спросила Кьяра, уже доставая телефон.

— Да, — ответила я, садясь в свою машину. — У нас есть два часа.

Завела двигатель. Мотор мурлыкнул тихо, почти бесшумно. В зеркале заднего вида мелькнуло здание колледжа — белое, безупречное, родное.

Я ехала домой, в особняк в Инзинии. В дом, где пахло маминими духами и свежими цветами. Где отец вечером спросит, как прошёл день, и голос его будет спокойным. Тёплым. Где всё было правильно. Где всё было навсегда.

Вечеринки у Луизы всегда были хаосом.

Литры алкоголя, вся футбольная команда колледжа, их фанатки и те, кто просто любил выпить нахаляву, смешивались там в единый, пульсирующий организм. Музыка басила так, что вибрировало стекло в окнах, а воздух становился густым от парфюма, пота и сладкого запаха коктейлей. В колледже «Варморд» существовало негласное правило: если у твоих родителей

на счету не было хотя бы полумиллиона долларов, ты считался никем. Здесь учились дети миллионеров, магнатов, медийных лиц и меценатов. Бомонд Виера-Морры в миниатюре. И вечеринки были продолжением этого мира — дорогими, громкими и абсолютно закрытыми для посторонних.

Соответственно, и одеваться нужно было по законам этих вечеринок. Что-то удобное. То, что не будет жалко испортить. Тебя могли затащить в бассейн прямо в одежде, или кто-то мог облить шампанским, или уронить бокал с виски на колени. Платьям на таких вечеринках места не было.

Я стояла перед открытым гардеробом в своей комнате и медленно перебирала вешалки. Пальцы скользили по шёлку, кашемиру, тонкой шерсти. Мимо. Мимо. Мимо. Всё слишком хрупкое. Слишком «для выхода». А мне нужно было что-то, что выдержит ночь.

Наконец я нашла его. Чёрный топ из плотного матового трикотажа. Не атлас, не шёлк — именно трикотаж. Он приятно холодил пальцы. Тяжёлый, эластичный, без единой лишней детали. Я сняла домашнюю футболку и натянула его через голову. Ткань плотно облегла грудь и талию, но не сковывала движений. В нём можно было танцевать, сидеть на полу, убегать от пьяных парней — и он не потеряет форму.

Тёмно-синие джинсы из дорогого денима. Высокая посадка, прямой крой. Они сидели идеально, словно были сшиты на мою фигуру (так оно и было). Деним — плотный, чуть шершавый на ощупь, с лёгким запахом новой ткани. Я застегнула молнию. Звук — короткий, металлический. Застегнула пуговицу. Джинсы обняли бёдра, но не давили. В них можно было провести всю ночь.

На ноги — чёрные кожаные ботильоны на устойчивом каблуке. Не шпильки. Шпильки на таких вечеринках — приговор. Кто-то наступит, каблук сломается, и ты останешься босиком на липком полу. Эти ботильоны я носила уже второй сезон. Кожа на мысках была чуть потёртой, подошва — стёртой. Они знали каждый этаж каждого особняка в Инзинии. Я вставила ноги, чувствуя, как знакомая кожа принимает форму стопы, и застегнула боковые молнии. Щелчок. Щелчок. Готово.

Волосы оставила распущенными. На шею — тонкую золотую цепочку. Никаких колец. Ничего, что можно потерять в толпе или за что можно зацепиться.

Я посмотрела на себя в зеркало. Чёрный топ, тёмно-синий деним, кожа, золото. Просто. Удобно. Дорого. Безупречно — как всё в этом доме.

Спустилась вниз. Мама сидела в гостиной с книгой, но подняла голову, когда я вошла. Её взгляд скользнул по мне быстро.

— Красиво, — сказала она тихо. И в этом слове было всё: одобрение, любовь, спокойствие. Она не спросила, куда я еду. Не напомнила быть осторожной. Она знала: я умею о себе позаботиться.

— Спасибо, мам, — ответила я, беря со столика ключи от машины и маленький клатч. — Вернусь поздно.

— Хорошо, милая.

Я на секунду задержалась в дверях, чувствуя, как тепло дома касается спины. Потом вышла.

Вышла на крыльцо. Вечер Виера-Морры встретил меня тёплым воздухом, пахнущим океаном, жасмином и далёким бензином. Небо было тёмно-синим, звёзды — яркими. Газон перед домом сиял мягкой подсветкой.

Я выехала со двора. Ворота открылись автоматически, бесшумно. Улица Инзинии была пуста. Только ровные ряды фонарей, идеальные газоны, белые особняки за высокими заборами. Окна некоторых домов светились тёплым светом. Где-то играла музыка. Где-то смеялись. Мой мир. Мой безопасный, предсказуемый, вечный мир.

Дорога до дома Луизы заняла десять минут. Я ехала медленно, наслаждаясь тишиной салона и ровным гулом мотора. Парковалась на улице, между двумя дорогими внедорожниками. Выключила двигатель. Посидела секунду в тишине, собираясь.

А потом открыла дверь и шагнула в хаос.

Музыка ударила в грудь ещё до того, как я подошла к двери. Бас, смех, крики. Свет из окон резал темноту. Воздух у входа — густой от табачного дыма и сладкого алкоголя.

Я толкнула дверь и вошла внутрь.

Кьяра неслась через весь холл уже ко мне. Я услышала её раньше, чем увидела: быстрый, нетерпеливый стук каблуков по мрамору, перекрывающий бас музыки. Потом — вспышка движения, облако знакомого парфюма, и вот она уже рядом, хватая меня за запястье. Её пальцы были горячими, хватка — крепкой, собственнической.

— Ами! Ты пришла! Идём! — выдохнула она, и слова почти тонули в гуле вечеринки. Глаза сияли тем самым азартом, который был опаснее любого алкоголя. — Там какая-то новенькая танцует на столе! Я думала, она упадёт прям на колени Лео. Прикинь, было бы ржачно!

Она рассмеялась — звонко, искренне. Смех Кьяры был как фейерверк: яркий, громкий и абсолютно безопасный. Она жила в этом хаосе, дышала им, и её радость была заразительной.

Но я не улыбнулась сразу. Мой взгляд скользнул мимо неё, сканируя толпу. Музыка, тела, свет — всё сливалось в одно пульсирующее пятно. Мне нужно было найти то, что было неподвижным. То, что было настоящим.

— Где Софи? — спросила я. Голос мой прозвучал ровно, спокойно, но внутри уже что-то сжалось. Не паника. Просто привычка знать, где мой якорь.

Кьяра на секунду замерла, её улыбка стала чуть менее ослепительной, более рассеянной. Она оглянулась через плечо, но без особого усердия.

— Эммм... кажется, была с Микэле у барной стойки, — сказала она, и в её тоне не было ни злости, ни тревоги. Только честное равнодушие человека, чьё внимание полностью захвачено настоящим моментом. — Не знаю. Я не нянька ей. Напиши или позвони.

Она снова сжала моё запястье, готовая утащить меня в гущу событий. Для Кьяры существовало только сейчас. Софи, Микэле, барная стойка — это было где-то на периферии, не стоящее внимания, когда рядом есть танцующая на столе девушка и возможность посмеяться.

Я посмотрела на её руку на своём запястье, почувствовала тепло. Улыбнулась — не потому что мне было смешно, а потому что любила её такой. Без фильтров. Без задней мысли.

— Ладно, — сказала я, позволяя ей тянуть себя вперёд. — Сначала найдём Софи. Потом — твою танцовщицу.

Кьяра закатила глаза, но не спорила. Она знала: со мной можно договориться, но нельзя передоговориться. И пока она тащила меня сквозь толпу, я продолжала искать взглядом знакомый силуэт у бара. Тот самый мягкий свет в мире неона.

Софи стояла у барной стойки, прислонившись плечом к холодному мрамору. Рядом с ней был Микэле. Он держал в руке стакан с виски.

— Привет, — сказал он, наклоняясь ко мне. Его губы коснулись моей щеки — коротко, привычно, без особого тепла.

— Привет, — ответила я.

Софи взяла меня за руку. Её пальцы были тёплыми, хватка — мягкой, но уверенной. Мы виделись всего несколько часов назад, в колледже, но это прикосновение было необходимо. Как подтверждение: я здесь, ты здесь, мы настоящие. В мире шума и фальшивых улыбок её рука была единственным честным сигналом.

— Тут сегодня очень шумно, — тихо сказала Софи. Её голос почти тонул в басе музыки, но я услышала. Не потому что она говорила громко, а потому что я всегда слышала её.

— Нормально, — парировала Кьяра, уже переминающаяся с ноги на ногу рядом с нами. — Я короче танцевать. Если захотите — я в центре зала.

Она подмигнула нам — быстро, дерзко, абсолютно искренне — и растворилась в толпе. Одно мгновение она была рядом, облаком парфюма и энергии, а в следующее — уже стала частью пульсирующего организма вечеринки. Мы даже не успели ответить.

Я перевела взгляд на Микэле. Он стоял расслабленно, опираясь локтем о стойку. Уверенность человека, которому всё даётся легко.

— Как игра? — спросила я. Вопрос был автоматическим, частью того же ритуала, что и поцелуй в щёку.

— Два-один, — ответил он, и в его голосе проскользнула лёгкая досада. — Тренер сказал, нужно больше. Теперь каждый день тренировки.

Он произнёс это так, будто жаловался на погоду. Не на боль, не на усталость. На недостаточность результата. Для него футбол был функцией. И я принимала это как данность.

— Привет, девочки.

Голос Лео был тихим, ровным, и перекрывал гул музыки. Не громкостью. Чёткостью.

Мы с Софи повернулись к нему одновременно. Даже на вечеринках он не менял стиль. Сын судьи, хоть и футболист, должен подавать пример. Идеально отглаженная белая рубашка, тёмные брюки со стрелками, очки в тонкой оправе, часы с матовым циферблатом. Русые густые волосы были аккуратно уложены, ни одна прядь не выбивалась. Он выглядел так, словно только что вышел из кабинета отца, а не из толпы пьяных студентов.

Его взгляд встретился с моим. Светло-серый, спокойный, читающий. Он смотрел на меня не как на девушку. Он смотрел как на текст. Спокойно, внимательно, без осуждения и без интереса. Просто фиксировал факты.

У него были свои фанатки. Я видела, как несколько девушек у бара переглядывались, когда он подошёл. Но Лео был холоден со всеми. Не высокомерен. Не отстранён. Просто другой. Однажды я слышала, как он сказал про этих девушек: «Они как жвачка. Минуту вкусно, потом лишь механические движения челюстью».

Он не говорил это с презрением. Он констатировал.

— Привет, Лео, — ответила я, и мой голос прозвучал так же ровно, как и его.

Он кивнул. Коротко, точно. И в этом кивке было больше уважения, чем в любом объятии Микэле.

Софи чуть сильнее сжала мою руку. Не тревожно. Подтверждающе. Мы обе знали: в этом хаосе Лео был ещё одним якорем. Другого типа, не таким тёплым, как Софи, но не менее надёжным.

Музыка басила. Толпа пульсировала. А мы четверо стояли у барной стойки — островок привычного порядка в мире, который создавался для того, чтобы порядок нарушать.

— Микэле, тебя там две девушки уже раздели и трахнули, — сказал Лео.

Голос его был ровным, тихим, но слова упали на мрамор барной стойки тяжелее любого бокала. Он не осуждал. Не шутил. Просто факт.

Микэле усмехнулся. Уголок губ дёрнулся вверх, но глаза остались пустыми. В этой усмешке не было ни стыда, ни оправданий. Только безразличие человека, для которого чужие тела были просто фоном.

— Мне пофиг, — сказал он, и голос его был таким же расслабленным, как и поза. — У меня есть Ами.

Он посмотрел на меня. Улыбнулся. И в этом взгляде не было тепла. Была собственность. Он не говорил «я люблю тебя». Он говорил «ты моя». И для него это было одно и то же.

Я не улыбнулась в ответ.

Никто из парней не смел ко мне подкатывать. Не потому что уважали — потому что знали: Микэле не разбрасывается фразами. Он просто разобьёт нос или сломает пару пальцев

тому, кто посмеет посмотреть на его вещь. Насилие было не угрозой. Оно было гарантией. Тихой, привычной, неотвратимой.

Но и сама я могла за себя постоять. Достаточно было одного взгляда. Того самого, которому меня научила мама. Ледяного. Взгляда, который не угрожал, а фиксировал. Который говорил: «Ты мне не интересен. Ты мне не равен. Ты не существуешь». Этот взгляд работал лучше любых слов. Парни отводили глаза, смущались, уходили. Не потому что боялись Микэле. Потому что чувствовали: перед ними не девушка, а стена.

А если взгляд не помогал — оставался мой фирменный приём. Средний палец. Поднятый медленно, спокойно, без агрессии. Просто как точка в предложении. Как финальный аргумент. Это было не хулиганство. Это был язык.

Сейчас я стояла рядом с Микэле, чувствуя его руку на своей талии. Его пальцы были тёплыми, хватка — привычной. Лео смотрел на нас своим читающим взглядом, и я знала: он видит всё. Видит, что улыбка Микэле пуста. Видит, что мой взгляд холоден. Видит, что между нами нет ничего, кроме статуса и привычки.

Но он молчал. Потому что в этом мире правда была не тем, что говорят вслух. Правда была тем, что все принимали как данность.

Я отпила из бокала. Сахар и холод на языке. Музыка басила. Толпа пульсировала. И мы стояли у бара.

— Так, хватит стоять столбами! Пошлите танцевать!

Кьяра потянула нас за руки. Её пальцы были горячими, хватка — нетерпеливой. Она не спрашивала. Она тащила. И я позволила себя тащить, потому что знала: сопротивление бесполезно, да и не нужно.

Я любила танцевать. Ради самого ощущения: когда музыка перестаёт быть звуком снаружи и становится пульсом внутри. Когда тело само знает, куда двигаться, и разум наконец замолкает.

Кьяра была пожаром. Она двигалась энергично, резко, словно пытаясь сжечь воздух вокруг себя. Каждое движение было вызовом, каждым взмахом рук она рисовала в пространстве невидимые линии, которые тут же стирались следующим рывком. От неё веяло жаром, парфюмом и той самой безумной жизнью, которую она проживала. Рядом с ней невозможно было стоять спокойно — её энергия заражала, как лихорадка.

Софи танцевала иначе. Плавно, текуче, с той самой грацией, которая была у неё в крови. Никаких резких движений, никаких лишних усилий. Она скользила по полу, словно пол был водой. В её танце не было вызова. Была уверенность. Уверенность человека, который знает своё место в этом мире и не нуждается в доказательствах. Светская львица — не потому что играла роль, а потому что эта роль была ей по размеру.

А я танцевала с Микэле.

Под ритм басов, который вибрировал в груди, в костях, в подошвах ботинок. Мы двигались синхронно, не глядя друг на друга. Его рука на моей талии — тёплая, привычная, собственническая. Моя рука на его плече — лёгкая, автоматическая. Мы знали этот танец наизусть. Знали каждый шаг, каждый поворот, каждую паузу. Это была не страсть. Не близость. Это была геометрия. Два тела, движущиеся по заранее проложенным траекториям, не нарушая дистанции, не пересекая границ. Безопасно. Предсказуемо. Правильно.

Лео остался у стойки.

Я видела его боковым зрением, даже когда кружилась в такт музыке. Он стоял там, где мы его оставили, прислонившись плечом к холодному мрамору, держа в руке стакан с чем-то прозрачным. Не пил. Просто держал. Его взгляд скользил по толпе, но ни на ком не останавливался. Он был неподвижной точкой в центре этого вихря. И пока мы танцевали, пока Кьяра сжигала воздух, а Софи скользила по нему, пока Микэле вёл меня по знакомым траекториям — Лео просто был. Наблюдал. Фиксировал. Ждал.

Музыка басила. Тела пульсировали. И мы четверо существовали в этом хаосе каждый по-своему: Кьяра — как огонь, Софи — как вода, Микэле и я — как механизм, Лео — как камень.

И всё было именно так, как должно быть.

Мы танцевали, когда музыка оборвалась.

Не стихла. Не сменилась треком. Именно оборвалась, словно кто-то перерезал провод. И в образовавшуюся тишину, ещё более оглушительную, чем бас, ворвался крик. Женский. Пронзительный. Животный.

— Помогите! Разнимите их!

Голос дрожал от слёз и ужаса, и этот звук был настолько чужеродным в нашем мире вечеринок, что толпа на секунду замерла. А потом двинулась. Не испуганно. Любопытно. Сотни голов вытянулись, шеи напряглись, тела потекли к террасе бассейна, как вода прорывает плотину. Кто-то уже доставал телефон. Кто-то смеялся нервным, возбуждённым смехом.

Микэле среагировал первым. Он не побежал. Он двинулся сквозь толпу, и люди расступались перед ним инстинктивно, чувствуя ту самую сталь, которая обычно была скрыта за улыбкой капитана команды. Плечи напряглись, челюсть сжалась, и в этом движении уже не было ничего от парня, с которым я только что танцевала. Был только хищник, почуявший кровь.

Мы с Софи и Кьярой вышли на террасу следом.

Воздух здесь был другим. Густым. Тяжёлым. Пахло хлоркой из бассейна, сладким алкоголем и чем-то металлическим, резким, тошнотворно настоящим.

Кровью.

Два парня дрались у самого края воды. У одного была рассечена бровь — глубокая, рваная рана, из которой кровь текла по щеке, капая на белую плитку тёмными, тяжёлыми каплями. У второго нос был свёрнут набок, и он хрипел, пытаясь вдохнуть через рот, пока первый продолжал бить его куда попало, уже не видя цели, просто изливая ярость в движениях.

Но это было только начало.

Откуда-то сбоку, из тени пальм, вывалились другие парни. Не наши. Не из «Варморда». Дешёвые футболки, агрессивные причёски, движения дёрганые, пьяные, непредсказуемые. Они не разбирались, кто прав, кто виноват. Они просто включились в драку, как механизм, запущенный чужой кровью. Кулаки замелькали. Послышался хруст. Чей-то локоть ударился о бортик бассейна с глухим стуком. Бокалы падали на плитку, разбиваясь вдребезги, и осколки смешивались с кровью и пролитым шампанским.

Девушки визжали. Кто-то убегал, спотыкаясь о собственные каблуки. Кто-то стоял неподвижно, снимая всё на камеру, и лицо его светилось голубым экраном в темноте. Воздух пульсировал от криков, ударов, хрипов и того самого запаха железа, который забивал горло.

Я видела Микэле.

Он был в центре этого водоворота, и ребята из команды пытались следовать за ним, но их было слишком мало против этой стихии. Микэле хватал кого-то за воротник, отталкивал, фиксировал, но хаос был сильнее порядка. Какой-то парень из чужих замахнулся и ударил его в скулу. Удар был грязным, неточным, но достаточным.

Голова Микэле дёрнулась назад. На мгновение он замер.

А потом его глаза налились гневом.

Не холодным. Не расчётливым. Живым. Тем самым первобытным гневом, который я никогда не видела в нём раньше. Он ответил ударом — коротким, точным, сокрушительным. Парень сложился пополам, выплёвывая кровь и зубы на белую плитку. Это был не капитан. Это был зверь.

Лео выбежал на террасу.

Он не бежал как спортсмен. Он бежал как человек, который видит катастрофу и пытается её остановить. Лицо исказилось тем самым напряжением, которое я видела только когда он смотрел на Микэле с тихой тревогой.

— Прекратите! — крикнул он, и его голос, обычно ровный и читающий, сорвался на хрип. Звук ударился о стены террасы и потонул в шуме драки.

Он подбежал к Микэле, схватил его за плечо. Пальцы сжались на ткани рубашки.

— Остановись! — говорил он, и в этом слове была не просьба. Мольба. Мольба человека, который видит, как его друг исчезает, растворяется в крови и гневе, и пытается удержать его за край пропасти.

Но глаза Микэле уже не видели Лео. Они видели только врага. Только цель. Только кровь.

Луиза появилась из дверей особняка.

Она приказывала.

— Твою мать! — рявкнула она, и голос её перекрыл даже звуки драки. — Пошли вон!

Она указала рукой на чужих парней, и в этом жесте было столько власти, что они на секунду замерли, словно получив физический удар.

— Вы кто такие?! — кричала Луиза, шагая вперёд, прямо в эпицентр хаоса. Она шла сквозь них, как нож сквозь масло, и толпа инстинктивно расступалась. — Выметайтесь, пока я не вызвала копов!

Один из чужих парней, тот, что стоял ближе всех, ухмыльнулся. Улыбка была кривой, кровавой, наглой.

— Ты чё, дура, попутала? — сказал он, и в его голосе звучало то самое презрение человека, который привык брать силой, а не словами.

Луиза не ответила. Не оскорбила в ответ. Не отступила.

— Я считаю до трёх, — сказала она ровно.

И достала телефон. Нажала кнопку. Поставила на громкую связь.

— Раз.

Гудок на другом конце линии прозвучал в тишине террасы оглушительно. Длинный, тягучий, настоящий.

— Два.

Второй гудок. Парни замерли. Ухмылка сползла с лица того, что говорил. Они переглянулись — быстро, нервно. Блеф это или нет, они уже не были уверены. А рисковать с реальной полицией Виера-Морры, когда ты не местный и только что устроил мордобой на частной территории, было глупо.

— Полиция Виера-Морры, лейтенант Джон Мирнен, слушаю вас. Что у вас случилось?

Голос из динамика был спокойным, профессиональным. И в этой реальности, в этом живом голосе полицейского, который действительно был на линии, рухнула вся бравада чужаков.

— Трииии, — протянула Луиза, и в этом звуке было столько удовлетворения, сколько не бывает даже после самой сладкой мести.

Парень сплюнул на белую плитку. Слюна смешалась с кровью и осколками.

— Вестэл передаёт привет, — сказал он, глядя прямо на Микэле. Голос его был хриплым, злым, но в нём уже не было агрессии. Только обещание. — Мы вас размажем на игре.

И они ушли. Не побежали. Не удирали. Ушли медленно, нарочито небрежно, сохраняя остатки достоинства. Их силуэты растворились в темноте сада, и только эхо шагов по гравию ещё секунду висело в воздухе.

Луиза выдохнула. Плечи опустились. Телефон дрожал в её руке, но она продолжала сжимать его, словно это было оружие, которое только что спасло ей жизнь.

— Суки, — сплюнул Микэле.

Слово упало на плитку, как ещё один удар.

Он стоял, тяжело дыша. Костяшки сбиты, покрыты чужой и своей кровью. На скуле уже наливался синяк — тёмный, болезненный, настоящий.

Я подошла к нему.

— Тебе нужно обработать руки и приложить лёд, — сказала я тихо, спокойно, беря его за запястье.

Моя рука коснулась его кожи. Кровь была тёплой, липкой, пахла железом. Костяшки горели жаром. Я чувствовала, как пульсирует его сердце под тонкой кожей запястья — быстро, яростно, ещё не вернувшееся в нормальный ритм.

Он кивнул. В этом кивке не было ни благодарности, ни нежности. Только признание факта: да, мне больно. да, ты права. да, я позволю тебе позаботиться обо мне.

Я повела его внутрь особняка. Софи шла рядом, молчаливая, тёплая, её присутствие было якорем. Кьяра осталась на террасе, помогая Луизе собирать осколки, и её энергия теперь была направлена не на танец, а на восстановление порядка. Лео шёл позади, и я чувствовала его взгляд на своей спине — читающий, фиксирующий, знающий.

Мы вошли в кухню. Свет здесь был ярким, стерильным, пахло моющим средством и остатками ужина. Я открыла морозильник, достала пакет со льдом, обернула его чистым полотенцем. Налила воды в раковину. Взяла антисептик с полки.

Микэле сел на стул. Положил руки на стол. Кровь капала с его пальцев на белую столешницу, оставляя тёмные, тяжёлые пятна.

Я стояла перед ним, обрабатывая раны.

Ватный диск, пропитанный антисептиком, коснулся сбитой костяшки. Жидкость была холодной, но на открытой ране она вспыхнула жаром. Микэле не дёрнулся. Не стонал. Не отвёл взгляд. Он просто смотрел на свои руки, лежащие на белой столешнице, как на чужие. Как на инструмент, который только что выполнил свою функцию и теперь требовал починки. В его глазах не было боли. Только пустота человека, который ещё не вернулся из того места, где кровь была языком общения.

— Ты слышал, Лео? Сраный Вестэл, — сказал он.

Голос был хриплым, низким, пропитанным тем самым первобытным гневом, который ещё не успел остыть в крови. Слово «сраный» вылетело изо рта вместе с воздухом — тяжёлое, грязное, настоящее. Он не смотрел на Лео. Смотрел на свои руки, и в этом взгляде было столько презрения к себе и к миру, что воздух в кухне стал плотнее.

Лео стоял рядом, прислонившись плечом к холодильнику. Рубашка всё ещё была безупречной, очки блестели в ярком свете лампы, но поза была усталой. Той самой усталостью человека, который видит то, чего другие не замечают, и несёт это знание молча.

— Слышал, — ответил он тихо, ровно. Голос его был как всегда: спокойный, читающий, лишённый эмоций. Но я знала этот тон. Это был тон человека, который уже собрал информацию, пока мы были на террасе. — У них новый капитан. Какой-то отбитый. Говорят, они выигрывают теперь с ним каждый раз.

Он произнёс это как факт. Не как сплетню. Не как утешение. Просто констатация новой переменной в уравнении. Для Лео мир состоял из данных, и эти данные только что изменились.

Микэле кивнул. Антисептик снова щипнул, когда я перешла к следующей ране на его пальцах. Он даже не моргнул.

— Поэтому тренер сказал: занятия каждый день, — ответил он, и в его голосе уже не было гнева. Только глухая, механическая покорность. Ярость ушла, сменившись рутиной. Драка на террасе закончилась. Началась другая война — та, где нужно побеждать не кулаками, а дисциплиной. Где «отбитый капитан Вестэла» был не личным врагом, а препятствием, которое нужно преодолеть тренировками.

Лео чуть выпрямился. Поправил очки — привычный жест, который означал, что он переходит от фактов к анализу.

— Не только, — утвердил он, и в его тоне появилась та самая сталь, которая обычно пряталась за спокойствием. — Финальный матч полугодия ещё. Там команды другие будут. А нам надо не упасть в грязь лицом.

Он сказал «нам». Не «тебе». Не «команде». Нам. И в этом слове было больше лояльности, чем в любых объятиях или утешениях. Лео не жалел Микэле. Он разделял с ним тяжесть. Напоминал, что поражение — это не личный провал, а общий груз. И что этот груз они понесут вместе.

Я закончила обрабатывать последнюю рану. Взяла полотенце со льдом, обернула его чистой тканью и приложила к распухающей скуле Микэле. Холод коснулся горячей кожи. Он наконец поднял глаза на меня. В них уже не было зверя. Была только усталость. И благодарность, которую он не мог выразить словами, но которая жила в том, как он позволил мне держать лёд у своего лица.

— Спасибо, Ами, — сказал он тихо. И в этом «спасибо» было больше честности, чем во всех его улыбках и поцелуях в щёку за последние месяцы.

Я кивнула. Не улыбнулась. Просто удержала лёд на месте, чувствуя, как холод проникает сквозь ткань, успокаивая жар под кожей.

Софи стояла рядом, молчаливая. Её присутствие было якорем, который держал нас всех в этой стерильной кухне, пахнущей моющим средством и железом. Кьяра сидела за столом, подперев подбородок рукой, и её энергия сейчас была направлена не вовне, а внутрь — она просто была с нами, разделяя тишину.

Мы пятеро стояли и сидели в этом ярком, чистом пространстве. Раненые. Уставшие. Настоящие.

Я вышла из кухни первой. Закрыла за собой дверь и на секунду прислонилась к холодной стене коридора. За дверью остались голоса. Лео что-то говорил Микэле. Софи молчала. Кьяра, кажется, встала. Я не стала слушать. Просто пошла к выходу.

Ночь была тёплой, села в машину, открыла окно. И только тогда поняла, что весь вечер не дышала.

Дом встретил меня тишиной.

Не той пустой, стерильной тишиной особняка, где никто не живёт. А тишиной дома, который дышит. Мама уже спала наверху, и даже сквозь закрытые двери я чувствовала её покой. Отец, скорее всего, был в кабинете. Свет тёплой полоской пробивался из-под двери.

Я постучала. Тихо, коротко.

— Войдите, — сказал голос из-за двери. Низкий, ровный, тёплый. Тот самый голос, который всегда означал: здесь безопасно.

Я открыла дверь и вошла.

Кабинет отца был островком света в ночном доме. Настольная лампа выхватывала из полумрака массивный дубовый стол, ноутбук с мерцающим экраном, стопку документов в кожаных папках. Бра на стенах горели мягким янтарным светом, отражаясь в полированном дереве книжных шкафов. Воздух пах старыми фолиантами, дорогим табаком и виски. На специальной подставке у края стола стоял бокал — янтарная жидкость тихо покачивалась, когда отец печатал.

Он поднял голову от экрана. Улыбнулся мне той самой улыбкой, от которой внутри всегда становилось легче. В его глазах не было усталости. Только тепло. Только присутствие.

— Привет, дочка.

— Привет, пап.

Я подошла ближе, чувствуя, как напряжение вечеринки начинает таять в этом свете, в этом запахе, в этом голосе. Здесь, в этом кабинете, мир снова был правильным.

— Как прошёл твой день? — спросил он, откидываясь на спинку кресла. Взгляд его скользнул по мне — быстро, оценивающе, но без тревоги. Просто подтверждение: ты здесь, ты цела. —Слышал, была вечеринка у Луизы?

— Да.

— Всё хорошо?

Я замялась. Слово «драка» застряло в горле, тяжёлое, липкое, пахнущее железом. Но отец смотрел на меня так спокойно, что правда сама попросилась наружу.

— Там была драка, — сказала я тихо. — Варморд против Вестэла.

Отец не вздрогнул. Не нахмурился. Даже не отвёл взгляд от моего лица.

— О, как. И кто кого? — спросил он, и в его тоне было то самое лёгкое, почти отцовское любопытство, с которым спрашивают о результатах футбольного матча. Не о крови. Не об опасности. О игре.

— Луиза хотела вызвать полицию. Как только подняли трубку — те ушли.

Отец усмехнулся. Коротко, одобрительно. В этой усмешке не было презрения к чужакам. Было уважение к хозяйке дома, которая защитила свою территорию. К системе, которая работает.

— Пап, — я снова замялась, и на этот раз слова вышли хриплыми, непрошенными. — Там было много крови. Кому-то сломали нос. У Микэле все руки сбиты в кровь.

Отец посмотрел на меня. Долго. Внимательно. В его взгляде не было ни осуждения, ни страха. Только тишина. Та самая тишина, которая была красноречивее любых слов.

— Дочка, это просто драка мальчиков, — сказал он тихо, ровно. Голос его был как рука, гладящая по голове. — Это нормально. Подерутся, да успокоятся. Не переживай.

Он произнёс это так, будто говорил о погоде. Будто кровь на белой плитке и сбитые костяшки были частью того же порядка, что и свет бра, и запах виски, и документы на столе. Для него это было ничто. Пыль. Шум.

— Это страшно, — прошептала я, и в этом шёпоте было всё, что я не могла сказать вслух. Страх не перед дракой. Страх перед тем, что мир оказался хрупким. Что стекло может треснуть. Что безопасность — это иллюзия.

— Я не могла ничего сделать, — сказала я.

Отец чуть склонил голову. Его взгляд потеплел, но сталь осталась.

— Ты и не должна ничего делать, — сказал он, и каждое слово ложилось на сердце как камень. Тяжёлый. Успокаивающий. Окончательный. — Это не твоя драка.

Он сказал это не как утешение. Как закон. Как напоминание о том, что есть вещи, которые выше меня. Выше моей боли. Выше моего страха. Есть порядок, который защищает меня, даже когда я этого не вижу.

Я стояла перед ним, чувствуя, как его слова проникают под кожу, успокаивая дрожь, которую я носила в себе с террасы бассейна. Он был прав. Это была не моя драка. Моя роль — быть дочерью. Быть наследницей. Быть той, кого защищают, пока она не станет достаточно сильной, чтобы защищать себя.

— Спасибо, пап, — сказала я тихо.

Он кивнул. Вернулся к ноутбуку. Пальцы снова забегали по клавишам, тихий стук слился с гулом дома. Бокал виски стоял на подставке, янтарный свет бра отражался в полированном дереве.

Я вышла из кабинета, закрыв за собой дверь. Полоска света исчезла.

В коридоре было темно и тихо. Но теперь эта тишина не пугала. Она защищала.

Я поднялась наверх, в свою комнату. Легла в кровать, чувствуя прохладу простыней и знакомый запах лаванды. Закрыла глаза.

Глава 2.

Утро началось не со света. С вибрации. Телефон на тумбочке зажужжал по дереву — коротко, настойчиво. Требовал. Звук чужой в тишине комнаты, где ещё пахло сном и лавандой. Я потянулась к нему, не открывая глаз. Пальцы нащупали холодный металл корпуса, скользнули по экрану. Свайп вверх. Приложила трубку к уху.

— Алло, — сказала я. Голос был хриплым, сонным, ещё не принадлежащим дню. Язык ворочался во рту тяжело, слова выходили вязкими.

— Ами! У меня родители уезжают на выходные! Предлагаю сходить в ресторан на причале, а потом девичник! Что думаешь?

Голос Кьяры ударил в ухо. Как вспышка света. Звонкий, непробиваемый. Ни капли утренней вялости. Только чистая энергия человека, для которого ночь — не отдых, а прелюдия к новому дню.

Я приоткрыла один глаз. Цифры на экране телефона расплывались, но смысл считался мгновенно: 07:00. Семь утра. Суббота. Время, когда нормальные люди видят сны, а не строят планы на шампанское.

— Кьяра… тебе доброе утро, — прошептала я, и каждое слово давалось с трудом. — Время семь утра. Ты не спала совсем?

— Сон для слабаков, когда такие новости! — парировала она, и в её тоне звучала та самая искренняя, непоколебимая уверенность, которую я знала лучше, чем собственное отражение в зеркале. — Наконец-то побуду без пристального взгляда мамы. Ну? Соглашайся, давай!

Она не спрашивала. Она тянула. Её голос был как рука, хватающая за запястье и вытаскивающая из тёплой постели в холодную реальность. Для Кьяры свобода от родительского надзора была важнее любого сна, любого отдыха, любого здравого смысла. И эта жажда жизни была заразительной даже сквозь телефонную трубку, даже в семь утра.

Я закрыла глаза снова. Почувствовала тяжесть век, остаточное тепло одеяла, знакомый запах лаванды. Тело просило ещё хотя бы часа тишины. Но разум уже знал: сопротивление бесполезно. Кьяра не отстанет. А если отстанет — будет звонить каждые пять минут, пока я не сдамся.

— Ладно, — выдохнула я. Слово было коротким, тяжёлым, пропитанным капитуляцией. Не радостью. Не предвкушением. Просто признанием факта: день начался, и он будет таким, каким его задумала Кьяра.

— Отлично! Попрошу Тони купить побольше шампанского. Пока, стервочка! Увидимся в колледже!

Щелчок разорванной связи прозвучал в тишине комнаты оглушительно. Я опустила телефон на тумбочку. Экран погас. Комната снова погрузилась в полумрак, но сон уже не вернётся. Вибрация телефона оставила фантомное эхо в пальцах, а голос Кьяры — в ушах.

Я лежала неподвижно, глядя в потолок, где тени от штор рисовали бледные узоры. Тело было тяжёлым, мысли — вязкими. Но где-то внутри уже шевелилось привычное принятие: сегодня будет шумно. Сегодня будет шампанское. Сегодня будет Кьяра.

Профессора в субботу сами хотели быстрее от нас избавиться. Лекции читались быстро, сбивчиво, словно они спешили на собственную вечеринку. Иногда нас просто отпускали, проверив память парой вопросов и махнув рукой на подробности. Сегодня было именно так. Мы вышли из корпуса, щурясь от яркого солнца, которое после ночного полумрака казалось слишком агрессивным.

Мы с девочками пошли к футбольному полю. Парни там уже тренировались вовсю, но зрелище было далёким от спортивной эстетики.

Виды их сегодня были словно ребёнок пролил краски на белый холст. Синяки, ссадины, пластыри, отёки. Жёлтое, багровое, фиолетовое — всё это пестрело на лицах и руках, превращая команду в карту ночных ошибок. Воздух над полем был тяжёлым не только от жары, но и от молчаливого напряжения. Никто не смеялся. Никто не перебрасывался шутками. Только глухие удары мяча, хриплое дыхание и скрип бутсов по траве.

— Это что за фиеста у вас на лицах?!

Голос тренера Брэда Лоуренса разрезал тишину как хлыст. Он стоял у бровки, руки в боки, и его крик был пропитан той самой смесью ярости и боли, которую я слышала только от людей, чьё тело предало их однажды и теперь требует расплаты каждый день.

— Вы что, вчера все разом упали друг на друга?

Брэд Лоуренс когда-то был звездой футбола. Пока не случился разрыв мениска. Травма коленной чашечки. Её собирали заново — из титана и чужих надежд, если верить слухам. Теперь он ходил с лёгкой хромотой. Каждый шаг — через силу. Но эта сила была страшной. Выкованной из того, что осталось после крушения.

Он подошёл к Микэле. Остановился в полуметре, глядя на распухший нос, который ещё помнил холод льда в кухне Луизы.

— Нос сам сломался? — спросил тренер. Голос его стал тише, но от этого ещё тяжелее. — Устал от твоей тупости?

Вся команда молчала. Тишина была абсолютной. Даже ветер, казалось, замер, не решаясь нарушить этот момент. Парни смотрели в землю, в небо, куда угодно, только не на тренера. Они знали: сейчас не время для оправданий. Сейчас время принимать удар.

— Это Вестэл, — сказал Микэле.

Голос его был хриплым, низким. Слово вылетело изо рта тяжело. Не жалоба. Не обвинение. Констатация факта.

Тренер подошёл ближе. Повернулся к нему ухом, словно не расслышал или не поверил.

— Повтори, — сказал Брэд. И в этом «повтори» не было просьбы. Был приказ.

— Вестэл. Их команда.

Брэд выпрямился. Его взгляд впился в лицо Микэле, сканируя, оценивая, взвешивая правду на весах собственного опыта.

— И как же эти щенки оказались рядом с вами? — спросил он, глядя в упор. Вопрос был не о драке. О причине. О том, кто допустил ошибку. Кто открыл дверь хаосу.

Лео, стоявший чуть позади Микэле, сделал шаг вперёд. Не чтобы защитить. Чтобы разделить.

— Мы не знаем. Может, наводка, — ответил он тихо, ровно. Голос его был как всегда: спокойный, читающий, лишённый эмоций. Но я знала этот тон. Это был тон человека, который уже просчитал варианты и выбрал тот, который меньше всего похож на ложь.

Тренер потёр переносицу. Медленно, устало. Жест, который я видела у отца в кабинете, когда мир требовал решений, а силы были на исходе. В этом движении была вся тяжесть человека, который несёт ответственность за тех, кто только что доказал свою ненадёжность.

— И так, пустоголовые, — сказал он наконец, и голос его снова стал громким, но теперь в нём звучала не ярость. Усталая сталь. — Ещё раз я увижу этот позор на ваших лицах — будете бегать по сто кругов в виде разминки. Ясно?

— Да, тренер! — ответила команда хором. Голоса были хриплыми, неровными, но единодушными.

Брэд кивнул. Коротко, окончательно. И вернулся к своей позиции у бровки, прихрамывая на собранное из титана колено.

Я стояла у ограды, чувствуя, как солнце греет спину, а внутри остаётся холодок от этой сцены. Софи молча стояла рядом. Кьяра переминалась с ноги на ногу, её энергия сейчас была направлена не вовне, а внутрь — она просто была с нами, разделяя эту тяжесть.

Парни вернулись к тренировке. Мяч снова замелькал над травой. Удары стали жёстче. Дыхание — тяжелее. Но в этом напряжении уже не было хаоса. Была дисциплина. Та самая, которая рождается из боли и стыда.

И я поняла: вчерашняя драка не закончилась на террасе бассейна. Она продолжалась здесь. На поле. Под солнцем. В каждом ударе по мячу, в каждом хриплом вдохе, в каждом взгляде тренера, который помнил, как ломается тело и как собирается заново.

Это была не игра. Это была плата.

Мы постояли у ограды, наблюдая за тренировкой.

Трибуны уже кишели фанатками. Девушки выкрикивали имена, хлопали в ладоши, визжали при каждом удачном пасе. Их энергия была липкой, густой, пахнущей дешёвым парфюмом и жаждой внимания. Я видела, как Лео закатывает глаза — коротко, устало, словно этот шум был физической помехой, которую он не мог отключить. Другие парни из команды, напротив, отвечали улыбками и подмигиваниями, жадно впитывая это обожание, как растения солнечный свет. Для них это было топливом. Для Лео — раздражителем. Для меня — просто фоном.

Микэле заметил меня.

Он оторвался от тренировки и быстро подбежал к ограде. Движения его были лёгкими, атлетичными, рассчитанными на публику. Он знал, что за ним наблюдают. Знал, что каждый его жест будет прочитан, обсуждён, возведён в культ.

Он поцеловал меня. Коротко. Влажно. Демонстративно. Губы коснулись моих — с той самой собственнической уверенностью, которая предназначалась не мне, а трибунам. Это был не поцелуй. Знак. Подтверждение статуса. Маркировка территории. Перед теми, кто мечтал занять моё место.

Я приняла этот поцелуй так же, как принимала всё в этом мире: спокойно, без сопротивления, без особого удовольствия. Просто факт.

— Какие планы на вечер? — спросил он, отстраняясь. Голос его был чуть хриплым после тренировки, но в нём звучала та самая расслабленная уверенность человека, который никогда не сомневается в своём праве спрашивать.

— Кьяра устраивает девичник, — ответила я. Просто. Без подробностей. Без эмоций.

— Понял, — сказал он. Кивнул. И добавил, глядя мне прямо в глаза: — Будь хорошей девочкой.

В этой фразе не было ни просьбы, ни угрозы. Только инструкция. Напоминание о роли. О границах. О том, кто устанавливает правила, а кто им следует. Он сказал это с той же интонацией, с какой тренер отдавал приказы на поле: ровно, безапелляционно, ожидая немедленного подчинения.

— Обязательно, — сказала я.

Слово вылетело автоматически. Не как обещание. Не как согласие. Как рефлекс.

Он улыбнулся — той самой улыбкой, которая предназначалась публике, но сейчас была направлена на меня. Улыбкой владельца, который доволен тем, что его вещь находится на своём месте. Затем развернулся и побежал обратно к команде, к крикам фанаток, к свисту тренера, к своей настоящей жизни.

Я осталась стоять у ограды. Софи молча стояла рядом. Кьяра переминалась с ноги на ногу, её энергия уже рвалась к вечеру, к шампанскому, к свободе от правил.

На трибунах снова грянули аплодисменты. Кто-то выкрикнул имя Микэле. Он махнул рукой, не оборачиваясь.

Я смотрела на его спину, на мелькающие фигуры игроков, на визжащих девушек, и внутри меня было тихо. Спокойно. Пусто.

Я была хорошей девочкой.

Я собиралась на наш девичник.

Закрыла дверь в свою комнату, отрезая себя от тишины дома. Включила музыку — негромко, так, чтобы бас был скорее вибрацией в полу, чем звуком в ушах. Ритм стал сердцебиением этого ритуала.

Гардероб был открыт. Пальцы скользили по вешалкам, перебирая ткани: шёлк, бархат, кружево. Мимо. Мимо. Сегодня нужно было что-то другое. Не просто красивое. Ощущаемое.

Выбор пал на короткое шёлковое платье цвета ночного неба. Тонкие бретели, почти невесомые. Глубокий вырез на спине, оставляющий кожу обнажённой до самого поясницы. Я сняла домашнюю одежду и натянула его через голову. Шёлк скользнул по телу прохладной волной, плотно облегая грудь и талию, но оставляя спину открытой для воздуха. Ткань была живой: она дышала вместе со мной, реагировала на каждое движение, напоминая о себе лёгким касанием к коже. Это было не платье. Это было ощущение.

Села перед зеркалом. Волосы ещё хранили память о дневной укладке, но сейчас им нужна была другая история. Накрутила их на плойку, прядь за прядью, чувствуя жар металла и запах слегка подпаленных волос. Кудри легли мягкими, тяжёлыми волнами, обрамляя лицо и обнажая шею. В них была та самая небрежная роскошь, которая требовала больше усилий, чем любая идеальная укладка.

Макияж. Тональный крем, растушёванный до состояния второй кожи. Тени — дымчатые, с мерцанием, которое ловило свет. Тушь, удлиняющая ресницы до невозможности. Блеск на губах — прозрачный, влажный, пахнущий сладостью. Каждое движение кистью было автоматическим, отработанным до совершенства. Но сегодня я делала это не для других. Для себя. Чтобы увидеть в зеркале ту, кем хотела быть этой ночью.

Украшения. Два кольца на правой руке — тонких, золотых, с матовой текстурой. Они сидели на пальцах привычно, как продолжение костей. На шею — тонкую золотую цепочку, которая легла на ключицы невесомой линией. Никаких серёжек. Открытая спина и шея говорили громче любого золота.

Босоножки. Высокие шпильки, ремешки которых обвились вокруг щиколоток, как ласковые змейки. Я встала, чувствуя, как меняется центр тяжести, как выпрямляется спина, как походка становится той самой — плавной, уверенной, предназначенной для взглядов. Шпильки были вызовом. После вчерашних ботинок на устойчивом каблуке они означали: сегодня я не выживаю. Сегодня я живу.

Финальный штрих. Парфюм. Memo Marfa. Три нажатия на пульсирующие точки: запястья, шея, сгиб локтя. Аромат расцвёл в воздухе мгновенно: цветы апельсина — яркие, солнечные; тубероза — густая, наркотическая, телесная; ваниль — тёплая, обволакивающая, как объятие. Этот запах был моей подписью. Моим невидимым платьем. Он говорил обо мне раньше, чем я открывала рот, и оставался в комнате даже после моего ухода.

Я посмотрела на себя в зеркало.

Шёлк. Кудри. Золото. Блеск. Аромат. Женщина, которая знает, чего хочет, и не боится это взять. Не «хорошая девочка». Не наследница. Не чья-то вещь. Просто я.

Я была готова.

Выключила музыку. Тишина комнаты снова накрыла меня, но теперь она была другой. Наполненной ожиданием. Энергией. Предвкушением ночи, которая принадлежала только нам.

Взяла клатч. Проверила телефон. Погасила свет.

И вышла в коридор, оставляя за собой шлейф туберозы и ванили — след того, кем я была в эти минуты наедине с собой.

У ворот уже ждала машина Кьяры.

Чёрный седан стоял в тени живой изгороди, его кузов поглощал свет уличных фонарей. Двигатель работал почти бесшумно, только лёгкая вибрация воздуха выдавала, что он готов к движению. За рулём сидел Тони.

Он вышел, как только я приблизилась. Движение было плавным, экономным, лишённым любой суеты. Открыл заднюю дверь для меня, кивнул — коротко, точно, без улыбки и без вопроса.

Я кивнула в ответ. Так же коротко. Так же без слов.

Тони не был разговорчивым. Никогда. Он делал то, за что ему платили: обеспечивал перемещение тела из точки А в точку Б без происшествий и лишних звуков. Никаких душераздирающих бесед о погоде, настроении или планах на вечер. Никаких взглядов в зеркало заднего вида, кроме тех, что диктовались безопасностью. Его молчание было не отсутствием общения, а формой сервиса. В мире, где каждый жест мог быть истолкован, его нейтральность была самым дорогим товаром.

Я скользнула на заднее сиденье.

Кожа была прохладной, пахла чистотой и едва уловимым запахом дорогого табака, который никогда не перебивал мой парфюм. Дверь закрылась за мной с глухим, герметичным звуком, отрезая меня от ночного воздуха, от стрекота цикад, от реальности за порогом дома. Мир сузился до этого салона: мягкий свет, тихий гул мотора, знакомые силуэты подруг.

Софи сидела справа, уткнувшись в телефон. Экран отбрасывал бледное свечение на её лицо, делая черты сосредоточенными, почти строгими. Пальцы быстро бегали по клавишам, но в этом движении не было нервозности. Только привычная эффективность человека, для которого решение бытовых вопросов семьи было таким же естественным процессом, как дыхание.

Кьяра уже орудовала бутылкой шампанского. Пробка вышла с приглушённым хлопком, и она тут же начала разливать игристое по трём бокалам, которые достала из специального держателя между сиденьями. Движения были уверенными, отработанными до автоматизма. Для неё шампанское в машине было не роскошью, а началом вечера. Таким же обязательным ритуалом, как макияж или выбор платья.

— И так, за начало этого вечера! — сказала она, раздавая нам бокалы. Голос звонкий, энергичный, заполнивший собой всё пространство салона.

Мы чокнулись. Тонкий звон хрусталя слился с ровным гулом мотора. Шампанское было холодным, пузырьки щипали язык, и этот вкус стал первым маркером ночи: лёгким, обещавшим свободу.

Софи отложила телефон, но не убрала его далеко. Просто положила на колени экраном вниз.

— Софи, кому ты там всё строчишь всю дорогу? — спросила Кьяра, и в её тоне звучала та самая искренняя, непоколебимая уверенность, которая не признавала границ личного пространства.

— Маме, — ответила Софи сухо. Не раздражённо.

— Что-то случилось? — спросила я. Голос мой прозвучал тихо. Я знала: если Софи отвечает односложно, значит, вопрос требует уточнения, но не драмы.

— Нет. Мама думает организовать встречу в гольф-клубе. Спрашивает, какие цветы лучше поставить в холле: белые пионы или розы.

Она произнесла это так же ровно, как если бы говорила о погоде. Для неё это не было вопросом статуса или денег. Это был вопрос качества услуг. Логистика. Эстетика. Часть работы, которую она принимала как данность, даже если эта работа касалась её собственной семьи.

— Скукота, — выдохнула Кьяра, и в этом слове было столько искреннего сочувствия, будто Софи только что рассказала о трагедии. Для Кьяры любая рутина, связанная с семейным бизнесом, была синонимом смерти веселья.

— Когда твои родители владельцы гольф-клуба, это становится вопросом качества услуг, — ответила Софи, и в её тоне появилась та самая мягкая сталь, которую я любила. Она не оправдывалась. Не объясняла. Просто называла вещи своими именами.

Я улыбнулась. Не потому что было смешно. Потому что узнавала этот ритм. Этот вечный танец между огнём Кьяры и водой Софи. Между хаосом и порядком. Между «скукотой» и «качеством услуг». Они были разными, и именно это делало нас целыми.

— Ладно, Софи, не нуди. Мы сегодня будем развлекаться, а не обсуждать, у кого кошелёк толще, — сказала Кьяра, и в её голосе уже снова звучала энергия, готовая заполнить собой любую паузу. Фраза про кошелёк была не уколом. Это был её способ сказать: оставь работу за дверью. Сейчас время для нас.

Я подняла бокал. Перевела тему не словами, а жестом.

— За нас, — сказала, глядя им обеим в глаза.

Софи улыбнулась — той самой мягкой, тёплой улыбкой, которая появлялась только когда она была с нами. Кьяра подмигнула, и её энергия наконец перестала рваться наружу, а обернулась внутрь, окутав нас троих невидимым коконом.

Машина плавно повернула на шоссе. Огни города замелькали за окном, превращаясь в размытые полосы света. Тони вёл машину молча, профессионально, отсекая нас от внешнего мира.

Мы подъехали к ресторану на причале Океануса.

Даже в свете вечерних софитов было ясно: этот яхт-клуб не для обычных рыбаков. Каждая яхта у пирса говорила сама за себя — матовые корпуса, приглушённая подсветка, отсутствие лишних деталей. Здесь богатство не кричало. Оно присутствовало. Тяжёлое, молчаливое, абсолютное.

Ресторан «Сиелла» был самым элитным и роскошным из всех. Сюда приходили не просто поесть. Сюда приходили быть увиденными или не быть увиденными, в зависимости от этажа и цели. Деловые беседы велись на первом, где свет был ярче, а взгляды — оценивающими. Поддержка статуса требовала бокала мартини у барной стойки, особенно для девушек, которые приходили сюда в поисках мужчин с правильными часами и правильными фамилиями. Кто-то отмечал юбилеи, кто-то делал предложения под аккомпанемент живой музыки. Но всё это было лишь верхним слоем. Если тебя пускали в «Сиеллу», значит, ты была элитой. Не гостьей. Своей.

Мы же приезжали сюда либо попить кофе утром, либо поужинать вечером, либо выпить по коктейлю, когда день требовал завершения. Сегодня был именно тот случай.

Тони открыл нам дверь, подавая руку, чтобы мы вышли. Его движение было плавным, профессиональным, лишённым любой суеты.

— Спасибо, Тони, — сказала я тихо.

Он кивнул.

У входа лежала красная ковровая дорожка, ведущая к массивным дверям. Три этажа ресторана возвышались над причалом, веранда на улице мерцала тёплым светом, но мы прошли мимо неё. Наш путь лежал внутрь. На второй этаж.

Лестница была обшита тёмным деревом, ступени поглощали звук шагов. С каждым подъёмом воздух менялся. Исчезал запах соли и бензина с причала. Появлялся аромат дорогого парфюма, старого дерева и чего-то сладкого, тягучего, как сам вечер.

Второй этаж был другим миром.

Здесь можно было танцевать. Музыка была иной — более интимной, танцевальной, тягучей. Бас не бил в грудь, а обволакивал тело, становясь вторым сердцебиением. Здесь не нужно было ужиматься, играть роль, поддерживать статус. Можно было быть самой собой. Атмосфера располагала к этому, как тёплая вода располагает к тому, чтобы снять одежду.

Красный бархат на стульях и диванах был глубоким, почти кровавым в полумраке. Он поглощал свет и звуки, создавая ощущение кокона. Чёрные мраморные столешницы блестели в свете свечей, отражая пламя дрожащими бликами. Полутона правили этим пространством: ни яркого света, ни полной темноты. Только мягкие переходы, тени, намёки.

Я шла по залу, чувствуя, как шёлк платья скользит по коже, а каблук шпилек утопает в толстом ковре. Софи шла рядом. Кьяра уже сканировала зал взглядом, её энергия вибрировала в такт музыке, готовая найти выход.

Мы заняли столик у стены, скрытый бархатной драпировкой. Отсюда весь зал был виден, но нас видели только те, кому было позволено видеть.

Я села, чувствуя, как красный бархат принимает вес тела, прохладный и мягкий одновременно. Чёрный мрамор стола был гладким под пальцами.

К нам подошла официантка. Не девушка, пытающаяся запомнить имена. Женщина в чёрном платье, чьи движения были такими же плавными и бесшумными, как музыка второго этажа. Её улыбка была профессиональной, но тёплой — той самой, которая давала понять: вы дома.

— Добрый вечер, дамы. Меня зовут Оливия. Вы что-то выбрали уже, или могу подсказать?

Голос её был низким, ровным, идеально модулированным. Она не спрашивала, готовы ли мы. Она предлагала сервис как естественное продолжение вечера.

Кьяра среагировала мгновенно. Её энергия, которая до сих пор вибрировала в такт музыке, теперь нашла выход в словах.

— Так, нам два Лонг-Айленда, клубничный Физз с просекко, Куба Либре и Гарибальди. А, и Дерби, — выпалила она одним дыханием, не глядя в меню. Названия коктейлей слились в единую скороговорку, звучащую как заклинание ночи. Для неё это был не заказ. Это было объявление войны скуке.

Софи, сидевшая рядом, медленно повернула голову. В её взгляде не было осуждения. Только та самая мягкая, усталая ирония, которую я знала лучше, чем собственное отражение.

— Кьяра, ты решила стереть себе память сегодня? — спросила она тихо, и в её тоне звучала не критика, а констатация факта. Софи знала: этот список — не жажда. Это вызов. Попытка уместить всю возможную свободу в один вечер.

— Почему? Зачем заказывать по несколько раз, если можно сразу? — парировала Кьяра, и в её голосе была та самая искренняя, непоколебимая уверенность человека, для которого умеренность была синонимом поражения.

Оливия не моргнула. Ни удивления, ни оценки. Просто кивнула, принимая этот залп как должное.

— Закуски? Салаты? — спросила она, переводя фокус с хаоса Кьяры на порядок, который требовался этому столу.

И тут вступила я.

Не потому что хотела взять контроль. А потому что моё тело знало этот ритм лучше, чем разум. Слова пришли сами, отработанные годами ужинов, которые я даже не помнила сознательно.

— Да. Сырное плато, устрицы Жилардо и Белон, Нисуаз, Париж и Амели, — сказала я ровно, без пауз, без взгляда в меню.

Я называла их не как блюда. Я воспроизводила. Жилардо и Белон — не просто устрицы, а маркеры качества, которые здесь понимали без объяснений. Нисуаз, Париж, Амели — не названия салатов, а география вкуса, встроенная в мою память на уровне рефлексов.

— Поняла, — ответила Оливия.

Она повторила наш заказ. Тихо, точно.

Я кивнула. Коротко. Подтверждая: да, всё верно. мы говорим на одном языке.

Она ушла, растворившись в полумраке зала так же бесшумно, как появилась.

Кьяра откинулась на спинку дивана, её энергия наконец нашла русло и успокоилась, превратившись в довольное предвкушение. Она оглядела зал, скользя взглядом по красному бархату, чёрному мрамору, приглушённому свету.

— Каких-то четыре года назад этого ресторана не было тут, — сказала она, и в её голосе звучала та самая живая, непостоянная память человека, для которого мир обновлялся каждые выходные. — А теперь это место всех и вся.

Она замолчала на секунду, и её взгляд остановился на мне. Не оценивающе. Узнающе.

— Мне кажется, тут твои корни, Ами.

Я подняла бровь. Не удивлённо. Заинтересованно. Слово «корни» повисло в воздухе между нами, тяжёлое, пахнущее чем-то древним, что я не могла назвать, но чувствовала кожей.

— Чувствуется итальянский люкс, — добавила Кьяра, и в её тоне не было анализа. Было ощущение. Этот ресторан не просто был дорогим. Он был родным. Не мне. Моей крови.

— Может быть, — ответила я тихо.

— Сегодня вечер откровений, — сказала Кьяра, беря в руку стакан с коктейлем.

Её пальцы обхватили хрусталь уверенно, но уже без той утренней точности. Алкоголь успел пустить свои корни в нашу кровь, и тело стало мягче, податливее, словно кости слегка растворились в тепле. На лице уже играла лёгкая, беспричинная улыбка — та самая, которая появляется только когда контроль ослабевает и мир перестаёт требовать от тебя совершенства.

— Вскроем все прыщи, — добавила она, и в её голосе звучала та самая искренняя, непоколебимая уверенность, которая не признавала границ приличия.

Софи едва заметно покраснела. Румянец проступил на её щеках не от стыда, а от неожиданности. В нашем мире, где всё было отполировано до блеска, слово «прыщи» звучало как ругательство. Как трещина на фарфоре.

— Кьяра… — прошептала она, и в этом шёпоте была вся её воспитанность, вся привычка к стерильности.

— Что? — парировала Кьяра, глядя ей прямо в глаза. В её взгляде не было вызова. Только приглашение. — Прыщи — это часть нас. От них никуда не деться. Можно замазать тональным, можно выжечь лазером, но они есть. И сегодня мы говорим о том, что есть. Не о том, что показывают.

Я засмеялась. Не вежливо. Не сдержанно. По-настоящему. Смех вырвался из горла тёплой волной, и в нём было столько облегчения, будто я только что сняла корсет, который носила двадцать лет подряд.

— Вскроем, — сказала я, чокаясь с ней.

Звон хрусталя был коротким, звонким, окончательным. Шампанское и ликёр смешались на языке сладкой, тягучей волной. Я пила не ради опьянения. Ради разрешения. Разрешения быть несовершенной. Быть настоящей. Быть той, у кого есть прыщи, страхи и вопросы, на которые нет ответов в учебниках по макроэкономике.

Кьяра заиграла бровями, и в этом движении была вся её энергия, теперь направленная не вовне, а внутрь нашего маленького круга.

— И так, с чего начнём? — спросила она, и голос её стал тише, интимнее, превращаясь в заговорщицкий шёпот.

Она отпила из бокала, смакуя вкус, и продолжила, не дожидаясь ответа:

— Я слышала, у Луизы новый парень. Он не из колледжа. Старше. Работает в центре. Она рассказывала, что он отличается от наших парней. Серьёзный. Всё время созвоны, деловые встречи. Никаких вечеринок до утра. Никаких глупых драк у бассейна.

Софи, которая до сих пор держалась чуть в стороне от этого потока, вдруг подалась вперёд. Её интерес был тихим, но острым, как осколок стекла.

— И где же она его встретила? — спросила она, и в её тоне звучала не сплетня. Любопытство. То самое, которое обычно пряталось за её спокойствием.

— Сказала, в клубе, — ответила Кьяра просто. Без оценки. Без осуждения. Просто факт. В её мире место знакомства не определяло ценность человека. Определяло то, как он смотрит на тебя.

Я задумалась. Слово «серьёзный» повисло в воздухе между нами, тяжёлое, пахнущее чем-то взрослым, чего у нас ещё не было.

— Не думала, что такие мужчины обращают внимание на таких, как мы, — сказала я тихо, и в моём голосе прозвучала та самая честность, которую мы только что поклялись вскрывать. — Возраст, я имею в виду.

Это было не кокетство. Не самоуничижение. Это было признание. Признание того, что в глазах взрослых, серьёзных мужчин мы были не женщинами. Мы были детьми. Девочками в шёлковых платьях, которые носят учебники в сумках и пьют шампанское в машинах. Наш статус, наши деньги, наша красота — всё это было декорацией. Для них мы были прозрачны.

— А почему нет? — спросила Софи.

Её вопрос был тихим, но в нём звучала та самая мягкая сталь, которую я любила. Она не утешала. Она ставила под сомнение. Ставила под сомнение мою уверенность в собственной невидимости.

— Статусным нужны соответствующие, — ответила я, и слова вышли ровными, лишёнными горечи. Только констатация факта. — А мы в сумках учебники носим.

Я сказала это не как жалобу. Как диагноз. Мы были элитой Виера-Морры. Но эта элита была детской. И пока мы не вырастем из своих учебников, нас будут видеть только сверстники да родители. Серьёзные мужчины из центра смотрели сквозь нас, как сквозь стекло.

Кьяра вздохнула. Не театрально. Искренне. В этом вздохе было столько тоски по тому, чего у неё никогда не было, что воздух вокруг нас стал плотнее.

— Эх, хотела бы я себе такого, — выдохнула она, и в её голосе не было зависти. Было желание. Желание не мужчины. Желание взрослости.

Она замолчала на секунду, глядя в свой бокал, где плавали кубики льда, и добавила тише, почти для себя:

— Взрослый. Опытный. И наверно, в сексе знает побольше наших парней. Да и энергетика другая.

Она сказала это не пошло. Для Кьяры секс был не удовольствием. Он был языком. И наши парни говорили на нём как дети, лепеча первые слова. А тот, кого она хотела, говорил бы на нём как взрослый. Без суеты. Без доказательств. С той самой тяжестью, которая делает женщину женщиной, а не девочкой.

Софи молча смотрела на неё. В её взгляде не было осуждения. Было понимание. Она тоже это чувствовала. Ту самую пропасть между нами и миром взрослых мужчин. Пропасть, которую нельзя перепрыгнуть, купив новое платье или выпив больше шампанского.

Я отпила из бокала. Холодная жидкость скользнула по горлу, оставляя послевкусие свободы и одиночества одновременно. Музыка обволакивала нас, тягучая, интимная. Красный бархат дивана был мягким под пальцами, принимая вес тела, но не давая опоры. Чёрный мрамор стола блестел в свете свечей, отражая дрожащие блики, которые казались единственной живой вещью в этом зале.

— Если честно… — начала я, подбирая слова не в словаре, а где-то глубже, там, где правда обычно прячется за вежливостью. — Наши отношения с Микэле… они будто декорации. Мы привыкли друг к другу, как диван и подушка на нём. Вроде вместе. Вроде удобно. Но если убрать подушку — диван останется диваном. Ничего не изменится.

Я замолчала, чувствуя, как слова повисают в воздухе, тяжёлые, непривычные.

— Поначалу было живо. Было интересно узнавать друг друга. А сейчас…

— Вы до сих пор не переспали? — перебила Кьяра.

В её голосе не было осуждения. Только искреннее, почти детское недоумение. Для неё секс был языком общения, способом подтверждения статуса, разрядкой. То, что мы ещё не сделали этого, казалось ей ошибкой в коде, багом в системе.

— Нет, — выдохнула я. Слово было коротким, окончательным. Не оправданием. Констатацией.

— Почему? — спросила Софи тихо. Её вопрос был другим. Не «почему нет», а «что тебя останавливает». Она чувствовала: дело не в морали и не в страхе. Дело в чём-то, чему у неё не было названия.

Я посмотрела на них обеих. На Кьяру, для которой тело было инструментом удовольствия. На Софи, для которой оно было частью гармонии. И поняла: мне нужно сказать то, что я никогда не говорила вслух. Даже себе.

— Потому что я не хочу пробовать только потому, что надо, — сказала я, и голос мой прозвучал ровнее, чем я ожидала. — Не хочу, чтобы это было галочкой в списке. Не хочу, чтобы это происходило потому, что у него член рвётся из ширинки, а у меня есть вагина, и мы оба знаем, что от нас ждут.

Кьяра замерла с бокалом у губ. Софи чуть подалась вперёд. В их глазах не было шока. Было узнавание. Узнавание той самой трещины, которую они тоже чувствовали, но боялись назвать.

— Я хочу по любви, — добавила я, и это слово прозвучало в полумраке ресторана как вызов. — Не романтической любви из книг. Любви как акта воли. Как выбора. Как момента, когда два человека видят друг друга без масок, без ролей, без ожиданий общества. Когда тело становится продолжением правды, а не выполнением долга.

— Ты его не любишь? — спросила Софи. Голос её был тихим, но в нём звучала та самая мягкая сталь, которая всегда появлялась, когда речь шла о главном.

— Люблю, — ответила я. И это была правда. Я любила Микэле. Любила как часть своего мира. Как привычку. Как безопасность. Но эта любовь была любовью к функции, а не к человеку.

— А что тогда? — спросила Софи, и в этом вопросе было всё: понимание того, что моя любовь к Микэле — не та, о которой я говорю.

Я отставила бокал. Звук хрусталя о мрамор был коротким, звонким, окончательным.

— Я чувствую, что с ним это будет потому что надо, — сказала я, глядя им обеим прямо в глаза. — А не потому что я хочу его. Не его тело. Не его удовольствие. Я хочу себя в этом моменте. Хочу чувствовать, что это мой выбор. Моя жажда. Моя правда. А не очередная сцена в спектакле, где мы оба играем роли, которые нам написали другие.

Тишина накрыла наш столик. Музыка продолжала обволакивать зал, но здесь, в этом коконе красного бархата и чёрного мрамора, время остановилось.

Кьяра медленно опустила бокал. В её глазах больше не было недоумения. Было уважение. Уважение к тому, что я назвала вслух то, что она чувствовала, но не могла сформулировать.

Софи молча кивнула. В этом кивке было всё: принятие, поддержка, понимание. Она знала: я не отвергаю Микэле. Я отвергаю сценарий. И в этом отвержении было больше честности, чем во всех годах наших «идеальных» отношений.

Кьяра поставила бокал на мрамор. Звук был коротким, решительным. Она посмотрела на меня тем самым взглядом, который не щадил, но и не предавал.

— Может, вам разойтись? — спросила она прямо, без обиняков.

Слово «разойтись» упало на столик, как ещё один бокал.

— Ну сама подумай, — продолжила она, и голос её стал тише, интимнее, превращаясь в заговорщицкий шёпот. — Секса нет. Вы целуетесь и обнимаетесь как зажравшиеся хомяки. Где страсть? Где феромоны? Вы как старики. Красивая картинка, но сути нет.

Она замолчала на секунду, глядя мне прямо в глаза, и добавила мягче, но не менее точно:

— Прости, Ами. Мы говорим правду сегодня.

«Зажравшиеся хомяки». Образ был настолько абсурдным, настолько точным и одновременно смешным, что вся боль, которая могла бы последовать за этими словами, мгновенно

испарилась. Осталась только голая, очищенная от пафоса реальность. Кьяра не оскорбляла нас. Она диагностировала. И диагноз был верен.

— Я понимаю, — сказала я тихо. И это было не согласие. Это было признание. Признание того, что она права. Что мы действительно стали хомяками. Удобными, сытыми, абсолютно лишёнными огня.

Софи, которая до сих пор слушала, чуть подалась вперёд. Её голос был тёплым, обволакивающим, как красный бархат дивана.

— Не прям сейчас, — сказала она, и в её тоне звучала та самая мягкая сталь, которая всегда появлялась, когда речь шла о главном. — Подумай над этим. Может, если ты закроешь эту страницу, твоя книга будет открыта для кого-то другого.

«Книга». Метафора была не литературной. Она была телесной. Закрыть страницу означало не просто расстаться. Означало перестать перечитывать один и тот же текст, который давно потерял смысл. Открыть новую главу означало рискнуть. Рискнуть тем, что следующая страница может оказаться пустой. Или болезненной. Но хотя бы живой.

— Спасибо, — сказала я. Слово вылетело само, без усилий. Не за совет. За разрешение. Разрешение перестать быть картинкой. Разрешение хотеть большего, чем удобство.

— Не за что, — парировала Кьяра, и в её голосе снова заиграла та самая энергия, которая только что была хирургическим скальпелем, а теперь стала бальзамом. — Я только за новый член в твоей вагине. Этот хоть и не был там, но думаю, мастер-класса не будет.

Она рассмеялась. Звонко, искренне, абсолютно лишённо пошлости. В этом смехе не было цинизма. Было освобождение. Освобождение от табу, от стыда, от необходимости говорить о сексе эзоповым языком. Она назвала вещь своим именем, и в этом назывании была любовь. Грубая, неотёсанная, но настоящая.

Я засмеялась вместе с ней.

Смех вырвался из горла тёплой волной, смешиваясь со звуками музыки, звоном бокалов, гулом голосов вокруг. В нём не было веселья. Был катарсис. Выдох после двадцати лет вдоха. Смех как подтверждение: я жива. Я чувствую. Я могу смеяться над тем, что раньше боялась даже назвать.

Софи улыбнулась — той самой мягкой, тёплой улыбкой, которая появлялась только когда мы были настоящими. Кьяра подмигнула, и её энергия наконец перестала резать, а обернулась внутрь, окутав нас троих невидимым коконом принятия.

Мы сидели втроём в этом коконе света и звука, и впервые за весь вечер говорили не о том, какие мы красивые, богатые или желанные. Мы говорили о том, какие мы настоящие.

И в этой настоящей правде было больше близости, чем во всех предыдущих вечерах вместе взятых.

Мы танцевали. Пили. Съели всё под чистую, не оставив на тарелках даже крошек. Смеялись так, что болели животы, и этот смех был тем самым катарсисом, который очищал нас от всего наносного. В тот момент мы были не наследницами, не студентками, не чьими-то девушками. Мы были просто тремя живыми существами, которые позволили себе быть.

— А может, в клуб? — спросила Кьяра, и в её голосе звучала та самая неутомимая энергия, которая только что пережила хирургическую операцию правды и вышла из неё ещё сильнее. — Хочется движа.

— Поехали! — сказала Софи, смеясь, и в этом смехе было столько лёгкости, будто она только что сбросила с плеч невидимый груз.

Мы вышли на улицу.

Ночной воздух ударил в лицо освежающей волной, пахнущей морской солью, выхлопами дорогих машин и влажным асфальтом. После душного кокона ресторана он казался глотком чистой воды. Я вдохнула глубоко, чувствуя, как прохлада наполняет лёгкие, а шёлк платья липнет к разгорячённой коже.

Тони написал, что отъехал за сигаретами. Кьяра ответила ему сообщением: «Не торопись». Мы стояли у входа, прислонившись спиной к тёплой стене ресторана, и смеялись над чем-то уже забытым, когда напротив «Сиеллы» остановилась чёрная Maserati MC20 Cielo.

Машина была матовой, поглощающей свет уличных фонарей. Двери-бабочки взметнулись вверх бесшумно, плавно, как крылья хищной птицы, обнажая салон из тёмной алькантары. Это был не просто автомобиль. Это был перформанс. Заявление. Вход в пространство, которое до этого момента принадлежало нам.

Кьяра присвистнула — коротко, одобрительно, профессионально. Софи замолчала мгновенно, её смех оборвался на полуслове, уступив место тому самому внимательному молчанию, которое означало: оцениваю.

А потом из машины вышел он.

Меня будто прошибло током.

Не метафорически. Физически. Разряд прошёл от макушки до пяток, заставив сердце пропустить удар, а кожу покрыться мурашками, несмотря на тёплый ночной воздух. Я таких не видела. Точнее, я никогда не смотрела. Микэле, Лео, парни из команды — все они существовали в моём поле зрения как привычные объекты, как мебель этого мира. Но этот… На него нельзя было не смотреть. Он требовал взгляда, как гравитация требует падения.

Он двигался с ленивой грацией хищника, которому не нужно спешить.

Чёрная шёлковая рубашка была расстегнута почти до пояса, обнажая мощную грудь и ключицы, покрытые плотным ковром тёмных татуировок, которые хищно карабкались вверх по шее. Рукава небрежно закатаны до локтей, открывая рельефные предплечья, сплошь забитые чернилами. На его пальцах горели массивные тёмные перстни — тяжёлые, как приговор.

Но дело было не в одежде. Не в татуировках. Не в аксессуарах.

Дело было в том, как пространство реагировало на него.

Двое охранников в строгих костюмах, стоявшие у входа в ресторан, синхронно склонили головы. Жест был едва заметным, автоматическим, но в нём было столько уважения, сколько не бывает даже перед чиновниками Совета. Их тела узнали статус раньше, чем мозг обработал информацию. Это была биология власти.

Он закрыл дверь машины. Дверь-бабочка опустилась так же бесшумно, как поднялась. Он обернулся, и на мгновение его взгляд скользнул по нам.

Но этой секунды хватило.

Воздух вокруг меня стал плотнее. Парфюм вдруг показался слишком сладким, слишком детским рядом с тем запахом, который донёсся от него даже через расстояние: дорогой табак, кожа и смертельная угроза. Мои пальцы, сжимавшие клатч, побелели. Сердце колотилось где-то в горле.

Я стояла неподвижно, чувствуя, как шёлк платья липнет к спине, как ночной воздух холодит разгорячённую кожу, как эхо его взгляда продолжает пульсировать в теле. Слова исчезли. Мысли растворились. Осталось только ощущение: тяжесть в груди, жар в животе, звон в ушах. Я забыла все слова, которые знала. Все роли, которые играла. Все правила, которым следовала. В этот момент я была не Амаэль Дель Рокко. Не золотая девочка. Не чья-то девушка. Я была телом, которое только что столкнулось с гравитацией и поняло, что падать — неизбежно.

Кьяра выдохнула. Громко, хрипло, словно ей не хватало воздуха.

— Мне срочно нужен вибратор и его фото в самом лучшем качестве, — сказала она, и голос её дрожал не от смеха. От напряжения.

Это было не шуткой. Не вульгарностью. Это был крик организма. Единственный способ перевести невыносимую энергию, которая только что прошла через нас троих, в нечто осязаемое, безопасное, контролируемое. Кьяра не пыталась быть смешной. Она пыталась выжить в этом моменте. Назвать вещь своим именем, чтобы она перестала быть стихией и стала объектом.

Софи покраснела. Румянец вспыхнул на её щеках мгновенно, заливая шею и ключицы. Но она не отвела взгляд. Не одёрнула Кьяру. Не сделала вид, что ничего не произошло. Её стыд был не моральным. Он был физиологическим. Тело откликнулось на правду раньше, чем воспитание успело наложить фильтр. Она краснела не потому, что слова были неприличными. А потому, что они были точными.

А он…

Он прошёл мимо нас. Медленно, лениво, не оборачиваясь. Но на его губах играла та самая ухмылка — лёгкая, издевательская, абсолютно уверенная.

И в свете уличного фонаря я наконец увидела его лицо.

Убийственная геометрия. Резкие, точёные скулы, которые буквально резали воздух, словно бритва. Волевая челюсть, покрытая брутальной щетиной — тёмной, густой, без единого намёка на аккуратность. Впалые щёки, создающие тени, в которых пряталась опасность. И чувственные, пухлые губы, которые сейчас были растянуты в этой ухмылке наглеца, знающего цену каждому своему движению.

Лицо хищника. Не красивое. Породистое. В нём не было лощёного глянца мажоров из «Варморда». Только чистая, дикая сила, тестостерон, запечатлённый в каждой линии. Брови — тяжёлые, нависающие, отбрасывающие тень на ледяные голубые глаза. Лоб — открытый, высокий, обрамлённый взъерошенными угольно-чёрными прядями, которые падали на него небрежно, ломая строгость образа.

Это было лицо человека, который смотрел в ад и заставил ад моргнуть первым.

Ухмылка скользнула по его губам, подчёркивая эту породу, и исчезла. Он не обернулся. Ему не нужно было. Он знал, что мы запомним каждую черту. Каждую тень. Каждый шрам, видимый и невидимый.

Эта ухмылка была страшнее любого прямого взгляда. Потому что в ней не было интереса к нам как к женщинам. В ней было удовольствие от собственной силы. Он не соблазнял. Он констатировал. Констатировал факт своего воздействия так же спокойно, как констатируют погоду или курс валют.

Он исчез за дверями ресторана, растворившись в полумраке второго этажа, но воздух вокруг нас остался заряженным. Парфюм вдруг показался пресным. Ночной бриз — недостаточно холодным. Шёлк платья — слишком тонкой бронёй.

Кьяра молчала, глядя на закрытую дверь, и в её молчании было столько честного потрясения, сколько не бывало даже в самые откровенные моменты наших разговоров. Софи всё ещё горела румянцем, но её взгляд уже прояснился, фиксируя произошедшее с той самой аналитической точностью, которая была её суперсилой.

А я стояла, чувствуя, как сердце постепенно возвращается в нормальный ритм, но тело помнит. Помнит разряд. Помнит запах табака и кожи. Помнит ухмылку, которая сказала больше, чем любые слова.

Мы ждали Тони. Стояли у стены, прислонившись спиной к тёплому камню, и молчали. Впервые за весь вечер нам нечего было сказать друг другу. Потому что только что произошло то, для чего у нас не было языка.

Сели в машину.

Дверь закрылась с глухим, герметичным звуком, отсекая ночной воздух, свет фонарей и эхо шагов. Салон окутал нас привычной прохладой кожи и запахом чистоты. Тони за рулём был неподвижен, профессионален, абсолютно нейтрален. Машина тронулась плавно, почти бесшумно, унося нас прочь от ресторана, но не от того, что там произошло.

Кьяра выдохнула. Громко, хрипло, словно ей не хватало воздуха даже в этом кондиционированном пространстве.

— Боже… — прошептала она, откидываясь на спинку сиденья и закрывая глаза. — Если бы мне такой мужчина предложил потрахаться в туалете на заправке где-то на отшибе, я бы согласилась, не раздумывая о чистоте.

В её голосе не было пошлости. Была абсолютная, неприкрытая капитуляция. Признание того, что ради этого мужчины она готова отказаться от всего, чем была: от статуса, от гигиены, от правил, от самой себя.

Софи, сидевшая рядом, тихо сказала:

— Кьяра, успокойся.

Но в её тоне не было осуждения. Только попытка вернуть реальность в салон, который только что стал слишком тесным для той энергии, которую мы привезли с собой. Софи знала: слова Кьяры были правдой. И эта правда пугала её не меньше, чем возбуждала.

— Как можно успокоиться? — парировала Кьяра, открывая глаза. В них горел тот самый огонь, который только что пережил встречу с адом и остался жив. — Ты его видела? Это же просто Асмодей, приправленный сверху Каролиной Рипер!

Она произнесла это с таким возбуждением, с такой искренней, почти религиозной экзальтацией, что воздух в салоне стал плотнее.

Кьяра только что назвала его стихией. Не мужчиной. Не объектом желания. Стихией, которой невозможно сопротивляться, можно только отдаться.

Я засмеялась.

Снова. Но этот смех был другим. Не катарсисом. Не освобождением. Признанием. Смехом человека, который перестал бороться с гравитацией и позволил себе упасть.

— Ладно, признаю: тоже, он красив, — сказала я тихо, глядя в окно, где огни города расплывались в светящиеся полосы.

Слово «красив» было недостаточно. Оно было слишком маленьким, слишком человеческим для того, что я чувствовала. Но это было единственное слово, которое мой разум смог найти, чтобы не сойти с ума. Я не сказала «он потрясающий». Не сказала «я хочу его». Я сказала «он красив», потому что это было безопасно. Потому что это позволяло сохранить иллюзию контроля, даже когда контроль уже был потерян.

Софи молча посмотрела на меня. В её взгляде не было удивления. Было понимание. Она знала: моё «красив» — это не оценка. Это сдача. Первая сдача за двадцать лет жизни в золотой клетке.

Кьяра улыбнулась — той самой улыбкой, которая появляется, когда ты понимаешь, что подруга только что шагнула в пропасть вместе с тобой.

Тони вёл машину молча. Огни Виера-Морры мелькали за окном, превращаясь в размытые потоки света. Музыка из динамиков была тихой, ненавязчивой, создавая фон для нашей тишины.

Мы ехали в клуб. В место, где будет громко, темно и пьяно. Где можно будет раствориться в толпе и забыть на пару часов то, что только что произошло.

Но я знала: забыть не получится.

Лицо с убийственной геометрией, ухмылка наглеца, запах табака и кожи, фраза про Асмодея и Каролину Рипер — всё это уже было внутри. Под кожей. В крови. В том месте, где раньше была пустота, теперь пульсировало нечто живое, горячее, опасное.

В клубе было душно.

Бас бил не в уши, а в грудную клетку, становясь вторым сердцем. Свет стробоскопов рвал темноту на куски, превращая тела вокруг в мелькающие силуэты. Воздух был густым, вязким, насыщенным смесью алкоголя, желания и пота.

Кьяра бросилась на танцпол мгновенно, растворившись в этой стихии, как рыба в воде. Мы с Софи последовали за ней. Не потому что хотели танцевать. Потому что нужно было

забыться. Нужно было выжечь из тела остаточное напряжение той встречи на улице, заменить мысли ритмом, заглушить эхо ухмылки басами.

Я отдалась музыке. Закрыла глаза. Позволила телу двигаться само, без контроля, без ролей, без «хорошей девочки». Бас. Ритм. Текст трека, который не требовал понимания, только ощущения. Стало хорошо. Не весело. Хорошо. Как бывает, когда перестаёшь думать и начинаешь просто быть.

После клуба Тони отвёз нас домой к Кьяре. Машина была тихой, прохладной, безопасной. Мы переоделись в пижамы, смыли с себя макияж, парфюм, запах клуба. И легли спать на одну кровать, как раньше, когда мы были маленькими и мир ещё не делился на «до» и «после».

Кровать была широкой, мягкой, пахла чистым бельём и знакомым шампунем Кьяры. Мы лежали вплотную друг к другу, чувствуя тепло соседних тел, привычное, родное, безопасное.

— Классно потусили… — пробормотала Кьяра уже засыпая, и голос её был тяжёлым, довольным, лишённым всякой энергии. Её тело наконец получило то, что требовало весь день: разрядку.

— Да. Доброй ночи, — сказала Софи, надевая маску для сна. Её движения были автоматическими, ритуальными. Маска означала: день окончен. Реальность выключена. Можно быть никем.

— Доброй, — ответила я, выключая ночник.

Комната погрузилась в темноту. Тишина накрыла нас мягким одеялом, прерываемым только ровным дыханием подруг.

Я закрыла глаза.

И в темноте, за веками, всплыл образ.

Не лицо. Не имя. Ощущение. Убийственная геометрия скул. Тяжесть взгляда исподлобья. Запах табака и кожи. Ухмылка, которая сказала больше, чем любые слова.

Тело прошибло мурашками. Разряд прошёл от макушки до пяток, точно такой же, как там, на улице, у ресторана. Но сейчас, в темноте спальни, в безопасности общей кровати, этот разряд был не ударом. Он был подтверждением.

Я улыбнулась. Нечаянно. Улыбкой, которую никто не видел. Которая принадлежала не мне — телу. И с этой улыбкой я уснула. Без кошмаров. Без тревоги. С образом мужчины, которого видела несколько секунд. Но который уже жил в моих снах. Как будто всегда там был.

Глава 3

— Кьяра, дочка, мы вернулись!

Голос Элизабет, мамы Кьяры, донёсся из коридора. Звонкий. Бодрый. Пропитанный энергией человека, для которого возвращение домой — маленький праздник.

— Хорошо, мам… — сонно протянула Кьяра, не открывая глаз. Голос её был хриплым, тяжёлым после вчерашнего, но в нём звучало абсолютное, непоколебимое доверие. Доверие ребёнка, который знает: мама здесь, значит, мир на месте.

Дверь в комнату открылась. Свет из коридора полоснул по лицу, заставив прищуриться.

— Ой, доброе утро, девочки! Ами, Софи! — сказала Элизабет, и в её тоне была та самая тёплая, обволакивающая материнская радость, которая принимала нас как своих. Не как гостей. Как продолжение.

— Доброе утро, — ответили мы хором, голосами, ещё не проснувшимися окончательно, но уже настроенными на привычную волну.

— Вставайте, завтрак! Сейчас накроют на стол в саду, — сообщила она, и в этом объявлении не было приказа. Было приглашение. Приглашение в мир, где утро начинается правильно.

Мы начали вставать. Движения были вялыми, автоматическими, продиктованными памятью сотен таких же утренних пробуждений. Умывались в ванной, пахнущей дорогим мылом и свежестью. Кьяра брызгалась водой, смеясь так, что капли летели во все стороны. Уронила зубную щётку на мокрый пол, подскользнулась, взмахнула руками и чудом удержалась за раковину, чуть не рухнув в лужу.

Мы смеялись. Искренне, громко, до слёз. Обычное девчачье утро. Наше утро. Момент, когда гравитация ещё не включилась, когда тело помнило только тепло общей кровати и не знало о весе предстоящего дня.

Переоделись. У нас у всех была одежда для каждого дома: будь то особняк Софи, мой дом в Инзинии или вилла Кьяры. Мы могли остаться друг у друга когда угодно, поэтому создали себе максимум комфорта. Чужие пижамы, чужие футболки, чужие шлёпанцы — всё это было нашим. Границы между нашими жизнями стёрты до состояния единого организма.

Спустились в сад.

Утреннее солнце Виера-Морры — мягкое, золотистое. Пахло жасмином и свежескошенной травой. Стол уже накрыт: белый лён, серебро, хрустальные стаканы с соком, корзина с круассанами. Кофе. Идеальная картинка из журнала. О жизни, которой нельзя коснуться, не испачкав.

— Доброе утро, девочки, — сказал Ричард, отец Кьяры.

Он сидел за столом в бежевой футболке поло и светлых брюках, читая газету. Поза была расслабленной, но в ней чувствовалась та самая сталь бизнесмена, которому принадлежал яхт-клуб «Океанус» и салон яхт. У мамы Кьяры был свой спа-центр. Их успех был не фоном. Он был фундаментом, на котором стоял этот сад, этот стол, это утро.

— Садитесь, — сказала Элизабет, подходя к столу.

Она была красива той красотой, которая требует усилий, но выглядит естественно. Платье — в тон футболке Ричарда. Они были не просто мужем и женой. Они были комплектом. Единым образом успеха, стабильности, правильности.

Я села за стол, чувствуя прохладу льняной салфетки под пальцами, запах кофе и выпечки, тепло солнца на плечах. Кьяра плюхнулась на стул рядом, всё ещё улыбаясь после падения в ванной. Софи аккуратно развернула салфетку, её движения были плавными, привычными.

— Как съездили? — спросила Кьяра, откусывая круассан. Голос её был ещё сонным, но уже включённым в привычный ритуал утреннего отчёта.

— Хорошо, — ответила Элизабет, наливая себе кофе изящным, отработанным движением. — Отец нашёл новых покупателей на две яхты, а я — трёх клиенток для спа-центра на полный сезон.

Она произнесла это с той самой лёгкой гордостью, которая была неотделима от её улыбки. Успех здесь не хвастовство. Он — погода.

Ричард опустил газету. Его взгляд скользнул по нам — тёплый, внимательный, но лишённый той глубины, которая бывает только когда человек действительно видит, а не сканирует.

— А вы как провели время? — спросил он, и в его тоне звучало искреннее, но поверхностное любопытство отца, который знает, что дочери гуляют, но не знает, как они гуляют.

— У нас был девичник, — сказала Кьяра просто. Без подробностей. Без намёков на Асмодея, туалеты на заправках и ухмылки, от которых прошибает током. В этом мире такие вещи не озвучивались за завтраком. Они оставались в темноте клубов и тишине общих кроватей.

Элизабет оживилась. Её глаза блеснули тем самым предвкушением, которое у женщин её поколения было связано только с одним событием.

— Кто-то выходит замуж? Ами, ты? — спросила она, и в её голосе было столько надежды, будто моя помолвка стала бы главным достижением её собственного утра.

Я улыбнулась.

— Нет. Просто собрание девочек. Поговорить о мальчиках, платьях и прочем, — сказала я ровно, упаковывая в безопасные слова всю ту бездну, которую мы вскрыли ночью. «Мальчики, платья и прочее» — это был код. Перевод нашей правды на язык, который этот сад мог переварить, не подавившись.

— Ах, ну да, — мама Кьяры улыбнулась, и в этой улыбке была та самая ностальгия, которая всегда возникает, когда взрослые смотрят на молодость через стекло своего опыта. — Я и забыла, каково это — когда тебе двадцать лет.

Она нежно посмотрела на Ричарда и взяла его за руку. Жест был плавным, красивым, идеально синхронизированным с утренним светом. Он же в ответ послал ей воздушный поцелуй.

Я смотрела на эту сцену и чувствовала, как внутри меня что-то тихо, но необратимо смещается.

Вчера вечером, в свете фонарей у «Сиеллы», я видела мужчину, чья ухмылка была тяжелее любого воздушного поцелуя. Чьё присутствие было реальнее, чем вся эта скоординированная идиллия. Чья сила не требовала подтверждения через жесты, потому что она была встроена в него, как кости в плоть.

А здесь, за этим белым льняным столом, под этим золотым солнцем, я видела спектакль. Красивый. Дорогой. Безупречный. Но спектакль.

И впервые за двадцать лет мне стало жаль не себя. Мне стало жаль их. Тех, кто забыл, каково это — чувствовать по-настоящему. Кто заменил огонь комфортом, страсть координацией, правду — правильностью.

Я откусила ещё кусочек круассана. Хруст теста. Сладость масла. Тепло солнца. Безопасность.

Всё было ложью.

Тони отвёз меня домой.

Ворота открылись бесшумно, пропуская машину на знакомую подъездную дорожку. Воскресенье. День, когда мир замирал. Я знала: родители в это время всегда были в саду или у бассейна. Никаких телефонов. Никаких ноутбуков. Никаких деловых звонков. Только солнце, вода и они. Они наслаждались такими днями так, как другие наслаждаются праздниками: с благоговением, с ритуалом, с абсолютной преданностью моменту.

Я поднялась в свою комнату. Сняла утреннюю одежду, надела купальник, накинула лёгкий халат из белого хлопка. Ткань была мягкой, прохладной, пахла чистотой. Босые ноги уто-

пали в ковре. Дом был тихим, но эта тишина не была пустой. Она была наполненной. Наполненной присутствием тех, кто создавал этот дом не деньгами, а любовью.

Спустившись к бассейну, я услышала всплеск воды.

И смех мамы. Радостный. Живой. Тот самый смех, который я помнила с детства, когда мир был большим, а они — вечными.

Я подошла ближе, придерживая халат у горла.

Мама и папа были в воде. Папа обнимал её за талию. Прижимал к себе. Его лицо было таким, каким я видела его только здесь: открытым, юным. Без тяжести. Мама запрокинула голову. Смеялась. Капли воды блестели на её коже, как бриллианты. Они выглядели как школьники. Которые ещё не знают, что такое боль.

Смотря на них, я всегда видела пример.

Не абстрактный. Не книжный. Живой. У них всегда горели глаза, когда они смотрели друг на друга. Не дежурным огнём привычки. Настоящим пламенем, которое не гасло за тридцать пять лет брака. Мама иногда закусывала губу, когда видела отца в рубашке и костюме перед выходом. Иногда краснела, когда он касался её спины на людях. Это было живо. Ярко. Настояще.

И эти моменты делали меня счастливой.

Я стояла у края бассейна, чувствуя тепло солнца и запах жасмина. Халат скользил по коже, напоминая о теле, которое вчера вечером помнило другое. Другой взгляд. Другую тяжесть.

И глядя на эту настоящую, живую любовь моих родителей, я почувствовала не сомнение в них.

Растерянность в себе.

Они любили друг друга по-настоящему. Их любовь была садом, бассейном, воскресным утром. Она защищала. Она согревала. Она была эталоном.

Мама заметила меня, улыбнулась и помахала рукой, приглашая в воду. Папа посмотрел тем самым тёплым, любящим взглядом, который всегда означал: ты дома, ты любима.

Я улыбнулась в ответ. Скинула халат. Шагнула в воду.

Прохлада обняла тело. Смех родителей накрыл, как одеяло. Солнце светило. Любовь была настоящей, и я была её частью.

Мы с мамой устроились на диванчике после бассейна.

Белый лён был ещё влажным от купальников, но солнце уже грело кожу, превращая влагу в приятную прохладу. Волосы мамы, распустившиеся после воды, блестели золотом. Мы сидели близко, плечом к плечу, и в этой близости было столько привычного тепла, сколько не бывает ни в одном ресторане мира.

Отец подошёл к нам, держа в руках поднос с тремя бокалами. На его лице играла та самая усмешка, которая появлялась только здесь, в этом саду, когда он был не бизнесменом, а просто нашим.

— Сегодня буду вашим барменом. Что желаете, дамы? — спросил он, и в его тоне звучала театральная серьёзность, за которой пряталась любовь.

Мама подняла подбородок, изобразив светскую даму на приёме.

— Бокаль Монраше, per favore, — сказала она абсолютно серьёзно, выдержав паузу ровно настолько, чтобы фраза успела повиснуть в воздухе.

А потом засмеялась. Смехом, который стирал любую дистанцию. Итальянское «per favore» в её устах было не позёрством. Оно было кодом. Напоминанием о том, что даже французское великое белое мы пьём по-своему. По-семейному. С кровью, которая течёт в нас вне зависимости от географии.

Отец улыбнулся ей в ответ — тем взглядом, от которого мама иногда краснела даже через множество лет брака. Затем повернулся ко мне.

— Дочка, Шато Латур или О-Брион?

Он предлагал не просто вино. Он предлагал выбор. Два первых гран крю класса Бордо. Легенды, которые другие люди пробуют раз в жизни на юбилеях. Для него это был воскресный полдень. Для меня — вопрос отца, который знает: я не ошибусь.

— Любое, пап, — сказала я, улыбаясь.

Я не выбрала. Не потому что мне было всё равно. А потому что доверяла.

Он налил мне О-Брион. Тёмно-рубиновая жидкость заполнила бокал, ловя солнечные блики. Отец поставил поднос на столик, сел рядом с мамой и обнял её за плечи. Она прижалась к нему, запрокинув голову, и в этом движении было столько естественной грации, сколько не бывает у женщин, играющих роль.

Я отпила. Вино было сложным, глубоким, с нотами чёрной смородины, земли и чего-то неуловимо тёплого. Оно скользнуло по языку, оставляя послевкусие, которое хотелось запомнить.

Мы сидели втроём в этом саду, на берегу французского моря, с итальянскими словами на губах и бордоским вином в бокалах. Мир был целым. Любовь была настоящей. Вино было великим.

И я была счастлива.

Просто, абсолютно, безоговорочно счастлива.

— Как повеселилась с девочками? — спросила мама, отпивая. Она спрашивала не чтобы проверить. Чтобы услышать.

— Хорошо, — ответила я, улыбаясь. — Кьяра, как обычно, была в своём амплуа.

Мама рассмеялась — тихо, с той самой нежностью, которая всегда появлялась в её голосе при упоминании подруг.

— Ох, Кьяра — это bestia di fuoco, — сказала она, и итальянские слова вылетели естественно, как дыхание. «Огненный зверь». В этом прозвище не было осуждения. Было восхищение. Восхищение той самой необузданной жизнью, которую мама когда-то тоже знала, но теперь наблюдала со стороны, через нас.

Она помолчала секунду, глядя на меня.

— Но знаешь, и это даже хорошо, — добавила она тише, серьёзнее. — Тебя должны окружать живые люди, а не картонки. Accidenti a loro.

«Чёрт бы их побрал» — тех, кто выбирает удобство вместо искренности. В этом ругательстве была вся её философия воспитания. Она не хотела, чтобы я была идеальной. Она хотела, чтобы я была настоящей. И Кьяра с её хаосом, и Софи с её тихой сталью были частью этого плана. Не случайностью. Выбором.

Отец, слушавший молча, кивнул.

— Софи тоже живая, — сказал он спокойно. — Приятная девушка.

В его тоне не было оценки потенциальной невестки или дочери друга. Было признание. Признание того, что Софи прошла его внутренний тест на подлинность. Для отца, чьё слово весило тонны, это было высшей похвалой.

— Они обе хороши, — сказала я, чувствуя, как внутри разливается тепло. — Поэтому мы и дружим с детства.

Это было не оправданием. Констатацией факта. Наша дружба держалась не на статусе или удобствах. Она держалась на том, что мы видели друг в друге живое. И родители знали это. Поддерживали это. Берегли это.

Мама чуть наклонилась вперёд, её интерес стал конкретнее, но всё таким же безопасным.

— Так что вы делали-то? О чём говорили?

Вопрос был прямым, но в нём не было допроса. Было приглашение поделиться. Она давала мне пространство рассказать столько, сколько я хочу, и оставить при себе столько, сколько нужно.

Я отпила вина.

— Мы были в ресторане, потом поехали в клуб, — сказала я ровно, упаковывая ночь в слова, которые этот сад мог принять. — Говорили обо всём, как обычно. Про парней, про сплетни, про вечеринки.

В её глазах заиграл тот самый огонек, который делал её не мамой, а подругой.

— А мальчики были? — спросила она, игриво приподняв бровь. В этом вопросе не было родительского контроля. Было искреннее, девчачье любопытство женщины, которая помнит, каково это — быть двадцатилетней и искать искру.

— Мааам… — протянула я, чувствуя, как жар приливает к щекам. Румянец был не от стыда. От нежности. От того, что она позволяла себе быть такой со мной. Не авторитетом. Не наставницей. Просто женщиной, которая хочет знать, горят ли глаза у её дочери.

— Что? — парировала она, и голос её стал мягким, заговорщическим.

Она протянула руку и взяла подбородок отца в ладонь, слегка покачала, словно говоря за него: «Да-да, мы твои подружки».

Отец не сопротивлялся. Они были одним целым, и это целое включало меня.

Мне стало смешно. Не от шутки. От счастья. От того, что в этом мире, где всё измеряется статусом и правилами, есть место для такого вот глупого, трогательного, абсолютно настоящего момента.

— Мальчиков не было, — ответила я, когда смех утих. — Да и кто с нами пойдёт? Микэле, Лео и вся футбольная команда? Это была бы обычная вечеринка, только на выезде.

Я сказала это легко, без горечи. Потому что это была правда. Парни из «Варморда» были частью декораций. Их присутствие превращало любой вечер в продолжение колледжа. А нам нужно было не продолжение. Нам нужно было другое. Даже если мы ещё не знали, какое именно.

Мама не отпустила подбородок отца. Её взгляд скользнул по моему лицу — внимательно, но бережно.

— Может, познакомились с кем-то? — спросила она тише. — Или понравился кто-то?

Я встретила её взгляд. Вспомнила ухмылку. Тяжесть взгляда исподлобья. Разряд, прошедший через тело. И поняла: это не то, чем можно поделиться за бокалом в воскресном саду. Это принадлежало другому миру. Миру, который ещё не имел названия.

— Нет, — сказала я спокойно. — Не знакомились ни с кем.

Это была правда. Мы не знакомились. Он просто был. Прошёл мимо. Оставил след. И этого было достаточно, чтобы изменить всё, не сказав ни слова.

Мама улыбнулась, принимая мой ответ. Не поверила слепо. Приняла.

Отец поднялся с диванчика.

— Пойду искупаюсь, — сказал он спокойно, и голос его был тем самым низким баритоном, который я знала с детства. Но сейчас, в этом саду, в этом свете, он прозвучал иначе. Тяжелее.

Он снял футболку поло одним плавным движением, и я впервые за двадцать лет увидела его. Не отца. Не бизнесмена. Не мужа мамы. Мужчину.

Его спина была широкой, мощной, покрытой татуировками, которые я никогда не видела под одеждой. Чёрные чернила жили на коже, рассказывая истории, о которых он никогда не говорил вслух: сицилийские символы, геометрические узоры, даты, имена, шрамы, превращённые в искусство. Это была карта его пути. Карта человека, который построил империю не словами, а кровью, потом и решениями, которые нельзя было отменить.

Он шёл к бассейну той самой походкой, которую я только сейчас осознала: ленивой, уверенной, абсолютно лишённой суеты. Каждое движение было экономным, точным, пропитанным той самой гравитацией, которая заставляет пространство подстраиваться под тебя. Он не спешил, потому что знал: мир подождёт. Или подвинется.

И в этот момент я поняла.

Они похожи.

Не лицом. Не возрастом. Не стилем. Сутью. Тем самым способом существования, когда тебе не нужно доказывать своё право занимать место. Когда один взгляд говорит больше, чем тысячи слов и сотни подписанных бумажек. Когда сила не кричит, а присутствует.

Незнакомец из чёрной Maserati вчера прошиб меня током, потому что я никогда не видела такой силы вне нашего дома. А сейчас, глядя на спину отца, я осознала: эта сила была со мной всегда. Просто она была одета в костюмы, скрыта за улыбками, упакована в воскресные ритуалы. Я принимала её как фон. Как воздух. Как данность.

А теперь я видела её обнажённой.

Мышцы спины двигались под кожей с той самой функциональной грацией, которая бывает только у людей, чьё тело — инструмент, а не украшение. В каждом изгибе, в каждой линии татуировок, в каждом шаге читалась история выживания, победы и абсолютного контроля.

Мама провожала его взглядом.

Не взглядом жены, привыкшей к мужу. Взглядом женщины, которая помнит. Которая знает, что под этой спиной, под этими татуировками, под этой спокойной силой скрывается тот самый огонь, который когда-то заставил её закусить губу и покраснеть. Она смотрела на него не как на отца своих детей. Как на мужчину, которого выбрала и которому доверила свою жизнь. И в этом взгляде было столько признания, столько живой, дышащей страсти, что воздух вокруг стал плотнее.

Я сидела на диванчике и чувствовала, как внутри меня что-то тихо, но необратимо перестраивается.

Вчера я думала, что незнакомец — аномалия. Сбой в системе. Что-то чуждое моему миру.

А сейчас я понимала: он не был чуждым. Он был зеркалом. Зеркалом, в котором отразилась та самая сила, которая создала этот сад, этот дом, эту семью. Сила, которую я носила в крови, но не умела читать.

— Мам, — начала я, и голос мой прозвучал тише, чем я хотела. — А как вы так с папой сохранили такие чувства спустя тридцать пять лет брака?

Вопрос вырвался сам. Не из любопытства. Из потребности. Мне нужно было понять: то, что я вижу перед собой каждый день, — это результат работы? Или дар? Или что-то третье, чему нет названия в моих учебниках?

Мама поставила бокал на столик. Повернулась ко мне всем телом. В её взгляде не было усталости от вопроса. Была готовность. Готовность дать ответ, который она носила в себе всю жизнь.

— Милая, — сказала она тихо, и голос её стал тем самым, на котором говорят правду. — Мы с твоим отцом прошли огонь и воду. Подгузники и ваши срыгивания. Были взлёты и падения, о которых ты не знаешь и, надеюсь, никогда не узнаешь.

Она замолчала на секунду, глядя туда, где отец уже плыл в бассейне, рассекая воду уверенными, мощными гребками.

— Когда я его первый раз увидела, у меня сердце ушло в пятки. Дело было не в лице. Дело было в том, что я поняла: я пойду с ним до конца. Чего бы это мне ни стоило.

Она улыбнулась — не ностальгически. Признавая.

— Он взял меня за руку и забрал в свой мир. И с тех пор мы вместе. Что бы ни случилось. Он мой муж. Моя первая и единственная любовь. Мой любовник и самый лучший друг. Мой дом. Моя защита.

Каждое слово ложилось между нами как камень.

— И если не дай бог что-то случится, — добавила она, и голос её стал стальным, — я знаю: он перекроит этот мир. В прямом и переносном смысле.

«Перекроит этот мир». Не «защитит». Не «спасёт». Перекроит. В этом слове была та самая сила, которую я только что видела в его спине, в татуировках, в походке. Сила, которая не просит разрешения. Которая берёт реальность и лепит из неё безопасность для тех, кого любит.

Мама посмотрела на меня внимательно. Проницательно.

— А почему ты спрашиваешь? — уточнила она. И в этом вопросе не было допроса. Было пространство. Пространство для ответа, которого она ждала.

Я запнулась. Слова застряли в горле, тяжёлые, непривычные. Но её взгляд держал меня. Не давал уйти в безопасное «просто интересно».

— Просто… — выдохнула я. — Мне кажется, отношения с Микэле — это глянцевый журнал. Красивая обложка. Правильные заголовки. Но внутри… пустота. Я не чувствую того, что вижу в вас.

Я сказала это. Вслух. В этом саду, под этим солнцем, с бокалом вина в руке. Назвала свою реальность ненастоящей. И мир не рухнул. Небо не упало. Отец продолжал плыть. Вино оставалось вином. Только правда стала легче.

Мама не вздохнула. Не расстроилась. Не начала утешать или советовать «потерпи».

Она фыркнула — коротко, тепло, абсолютно по-итальянски.

— Pf. Tale padre, tale figlio, — сказала она, и в этой фразе («Каков отец, таков и сын») не было сравнения. Было обещание. Обещание того, что кровь, которая течёт в моих жилах, не позволит мне довольствоваться глянцем навсегда.

— Милая, ты сама поймёшь, когда будет тот самый, — добавила она мягче, показывая рукой на грудь, прямо над сердцем. — Вот тут будет биться чаще. Не в голове. Не в статусе. Не в правильности. Здесь.

Она коснулась своего сердца. Затем моего. Ладонь была тёплой, живой, настоящей.

И в этом прикосновении было больше ответов, чем во всех книгах, советах и ожиданиях мира.

— Вам не нравится Микэле? — спросила я.

Вопрос вырвался раньше, чем я успела его отфильтровать. Он повис в воздухе между нами, тяжёлый, обнажённый.

Мама не отвела взгляд.

— Честно? Нет, — сказала она. И в этом «нет» не было злобы. Только ясность. Ясность женщины, которая видит насквозь. И не тратит силы на притворство.

Она помолчала секунду, давая слову осесть. Затем продолжила, и голос её стал мягче, но не менее твёрдым:

— Но это твой выбор и твой опыт. Ты должна учиться сама.

В этих словах была вся её мудрость. Она не запрещала. Не уговаривала. Не спасала. Она позволяла. Позволяла мне ошибаться. Чувствовать пустоту. Сравнивать глянец с настоящим. Проживать этот опыт, потому что знала: только так рождается понимание. Только через свою боль, а не через чужие советы, можно узнать разницу между декорацией и жизнью.

Но затем её тон изменился. Стал ниже. Темнее. Пропитанным той самой сталью, которая жила в их семье под слоем солнца и вина.

— Но если этот ragazzo причинит тебе боль или тронет пальцем тебя… — она произнесла это медленно, чеканя каждое слово, — Il padre sarà furioso.

«Отец будет в ярости».

Это была не угроза Микэле. Это было обещание мне. Обещание того, что моя свобода выбирать имеет пределы только там, где начинается моя безопасность. Что я могу разбить своё

сердце о глянец, но никто не смеет разбить меня. Что за моей спиной стоит сила, которая не знает компромиссов, когда речь идёт о крови.

Я сидела неподвижно, чувствуя, как эти слова проникают под кожу, оседая в теле теплом и тяжестью одновременно. Теплом от того, что меня видят. Тяжестью от того, что меня защищают.

Мама снова улыбнулась. Взяла мою руку, сжала её.

— Пей вино, tesoro, — сказала она мягко. — Солнце ещё высоко.

И мы сидели втроём в этом саду, на берегу французского моря, с итальянскими словами на губах и бордоским вином в бокалах. Мир был целым. Любовь была настоящей. Защита была абсолютной.

И я была свободна.

Свободна ошибаться. Свободна чувствовать. Свободна знать, что за любой ошибкой стоит рука, которая поймает. И ярость, которая уничтожит того, кто посмеет эту руку оттолкнуть.

Остаток дня мы провели вместе.

Вино. Стейки. Смех. Воспоминания о моём детстве, которые мама рассказывала с той самой живой интонацией, от которой даже самые обычные истории превращались в легенды. Разговоры о колледже, о новых местах, которые должны открыться этим летом. Папа рассказывал о проектах: два ресторана, три детских сада, новая школа. Он говорил об этом не как бизнесмен, отчитывающийся перед инвесторами. Как отец, который строит мир для тех, кто придёт после нас.

В его голосе была та самая непоколебимая уверенность человека, который знает: завтра будет. Завтра всегда будет. И эта уверенность была заразительной. За этим столом, под этим светом, с этим вином и этими планами, будущее казалось не вопросом. Оно было обещанием.

Я лежала в кровати.

Комната пахла чистым бельём и остатками парфюма. Тело было тяжёлым от вина, солнца и счастья. Мысли плыли медленно, лениво, как облака за окном.

Телефон на прикроватной тумбочке завибрировал. Экран вспыхнул в темноте. Общий чат.

Кьяра: завтра какая-то новенькая приезжает, не помню откуда она, только переехали типа того

Софи: понятно

Кьяра: *эмодзи с закатывающимися глазами*

Амаэль: давайте спать

Кьяра: споки ноки

Софи: доброй ночи

Амаэль: спокойной ночи

Экран погас. Темнота снова накрыла комнату.

Утро встретило солнцем и новым днём.

Я собралась механически, тело двигалось по привычке: форма, учебники, тетради. Завтрак уже был на столе — тосты, кофе, запах свежей выпечки. Я ела, чувствуя вкус еды, но мысли были где-то между вчера и сегодня. Между уверенностью отца за ужином и тихим пульсом под кожей, который не давал покоя.

— Хорошего дня, — сказала мама, целуя меня в щёку. Её губы были тёплыми, парфюм — знакомым, безопасность — абсолютной.

— Удачи, дочка, — сказал отец, отрываясь от телефона на секунду. Его взгляд скользнул по мне — быстро, оценивающе, любяще. И вернулся к экрану.

Я села в машину. Дорога до колледжа промелькнула как всегда: море, дорогие дома за заборами. Мир был целым. По крайней мере, снаружи.

Колледж встретил как обычно. Дорогие машины на парковке. Улыбки. Обсуждения выходных, тусовок, кто с кем переспал или не переспал. Воздух был густым от парфюма, амбиций и того самого глянца, который я только вчера назвала пустотой.

Девочки уже стояли у входа.

— Привет, — сказала я, подходя к ним.

— Привет, — ответила Софи. Её улыбка была мягкой, настоящей. В ней не было ни грамма того, что я увидела секундой позже.

— Смотри, — сказала Кьяра, указывая кивком головы в сторону парковки.

Шла девушка.

Блондинка. Губки бантиком. Очки с розовыми стёклами. Белоснежная улыбка, которая казалась нарисованной. Она двигалась так, будто каждый шаг был рассчитан на зрителя. Казалось, фея из сказки, сошедшая со страниц детского альбома. Все парни провожали её взглядом — жадными, оценивающими, голодными. А она будто питалась этим. Улыбалась шире с каждым пойманным взглядом. Кто-то даже свистнул ей вслед, и она не обернулась, но улыбка стала ещё ярче, ещё слаще.

— Это что, сладкая вата? — спросила Кьяра, и в её голосе не было злобы. Только искреннее, почти медицинское недоумение. — Слишком много сахара. Не лопнули бы пчёлы.

Я улыбнулась. Не насмешливо. Задумчиво.

Глядя на эту девушку, я видела не соперницу. Не угрозу. Зеркало. Той, кем я могла бы быть. Той, кем, возможно, была ещё неделю назад. Девушкой, которая питается взглядами. Носит розовые очки не потому, что мир прекрасен. А потому, что без них он слишком настоящий.

— Может, мы тоже со стороны такие, — сказала я тихо. Без злости. Без осуждения. Просто констатация факта. Мы все носим маски. Просто некоторые маски розовые, а некоторые — цвета ночного неба и дорогого вина.

Кьяра фыркнула, но в этом звуке было согласие. Она поняла: я не защищаю новенькую. Я называю систему, в которой мы все живём.

— Переедь меня бульдозером, — выдохнула она, глядя на Софи с той самой нежностью, которая всегда пряталась под её грубостью. — Наша Софи, хоть и блондинка, но не это розовое недоразумение.

Софи закатила глаза, но улыбнулась. В этом обмене было всё: принятие, юмор, граница между настоящим и пластиковым. Кьяра не ненавидела блондинок. Она ненавидела фальшь. И Софи была доказательством того, что можно быть светлой, женственной и при этом живой.

Новенькая скрылась за дверями колледжа, унося с собой шлейф сладкого парфюма и мужских взглядов. А мы остались стоять у входа, три девушки, которые знали разницу между сахарной ватой и настоящим хлебом.

По крайней мере, теперь я её знала.

Глава 3.2

Лекции шли своим чередом. Макроэкономика. Финансы и бюджет. Тело сидело за партой, но разум был где-то между вчерашним ужином и сегодняшней новенькой в розовых очках.

Сейчас была юриспруденция.

Профессор Лидайн стоял у кафедры. Воздух в аудитории становился плотнее с каждым его шагом. Он был строг. Не театрально. Для него закон был как утренний кофе. Ритуал. Доведённый до автоматизма. Без эмоций, но требующий безупречной точности.

Лео сидел в первом ряду, спина прямая, ручка двигалась по бумаге с механической точностью. Сын судьи. Наследник имени де Валуа. Отличник. Для него эта аудитория была продолжением гостиной, где отец обсуждал прецеденты за ужином, а семейная история переплеталась с историей страны. Я сидела рядом, не отставая ни на слово. Мы оба знали: здесь нет места для импровизации. Только структура. Только кодекс.

Сегодня разбирали ситуацию по несправедливому обвинению во взяточничестве.

Кейс был тонким. Чиновник муниципальной службы принял деньги от застройщика. Формально — corruption passive по статье 432-11 Уголовного кодекса Франции. Доказательства были: перевод на счёт, свидетельские показания, подпись на разрешении. Прокуратура требовала семь лет и штраф в миллион евро.

Но дьявол, как всегда, жил в деталях.

Лидайн обвёл аудиторию взглядом. Остановился на Лео.

— Месье де Валуа. Ваша позиция защиты?

Лео встал. Голос ровный, чёткий, лишённый дрожи. Имя звучало в аудитории как печать качества — тихая гарантия того, что ответ будет безупречным.

— Обвинение построено на презумпции вины через факт получения средств, профессор. Однако статья 432-11 требует доказательства quid pro quo — прямой связи между выплатой и конкретным административным актом. В данном случае разрешение на строительство было выдано до перевода средств, согласно хронологии документов. Деньги были перечислены постфактум, без предварительной договорённости. Следовательно, состав преступления отсутствует. Это может быть этическим нарушением, но не уголовным.

Он сел. Безупречно, технически верно. Сын судьи знал кодекс наизусть, потому что этот кодекс был частью его наследия.

Лидайн кивнул. Не одобрительно. Фиксирующе. Затем его взгляд скользнул по аудитории и остановился на мне.

— Мадемуазель Дель Рокко. Вы согласны с месье де Валуа?

Я встала. Тридцать секунд тишины не было. Слова пришли сами — не из учебника, а из того самого пространства, где вчера мама говорила о силе, которая «перекраивает мир».

— Частично, профессор, — сказала я. — Месье де Валуа прав в части отсутствия quid pro quo. Но защита не должна ограничиваться формальным отсутствием состава. Необходимо рассмотреть контекст, который делает обвинение несправедливым, а не просто юридически несостоятельным.

Я сделала паузу.

— Согласно практике Кассационного суда, подтверждённой решением от 2019 года, суд обязан оценивать intention coupable — преступный умысел. В данном случае чиновник действовал под давлением мэрии, которая угрожала увольнением при отказе подписать разрешение. Перевод средств был не взяткой, а компенсацией за уже совершённое действие, продиктованное служебной необходимостью, а не корыстью. Без доказательства умысла обогащения обвинение превращается в инструмент политического давления, а не правосудия.

Я села.

Тишина в аудитории была другой. Не той, когда ждут следующего вопроса. Той, когда услышали.

Лео посмотрел на меня. В его взгляде не было соперничества. Было признание. Признание того, что я добавила к его технической безупречности то, чего не было в кодексе: понимание человеческой природы внутри правовой системы. Два наследия — де Валуа и Дель Рокко — сошлись в одной точке, не столкнувшись, а дополнив друг друга.

Лидайн молчал. Двадцать секунд. Двадцать пять.

Затем кивнул. Медленно. С той самой тяжестью, которая означала высшую оценку.

— Верно, мадемуазель Дель Рокко, — сказал он тихо. — Закон — это скелет. Но справедливость — это плоть. Без плоти скелет мёртв. Запомните это все.

Он повернулся к доске. Лекция продолжилась.

Но что-то изменилось. Не в аудитории. Во мне.

Я только что защитила человека, который формально был виновен, но по сути — нет. Используя язык закона, чтобы защитить то, что закон не всегда видит. И в этом моменте я почувствовала: два мира, которые жили во мне отдельно — мир отца, перекраивающего реальность, и мир мамы, хранящей правду сердца, — впервые сошлись. В одной фразе. В одном дыхании. Рядом с именем де Валуа, которое больше не было просто фамилией однокурсника. Оно стало частью моего собственного языка.

Обед шёл своим чередом.

Мы сидели за своим столом, который был нашим уже три года. Место у окна, свет падал так, что не било в глаза, шум столовой здесь был фоном, а не хаосом. Софи ела салат, Кьяра ковырялась в пасте, листая телефон. Я пила воду, чувствуя, как тело ещё помнит напряжение лекции.

Лео и Микэле подошли вместе с парнями из команды. Стулья задвигались, подносы стукнули о стол, пространство вокруг нас уплотнилось, заполняясь мужской энергией, запахом спортивной формы и шумом, который был частью нашей повседневности.

— Ами, мне понравилось, — сказал Лео, садясь рядом. Он не уточнял, что именно. Ему не нужно было. Мы оба знали: речь о моменте, когда закон стал плотью.

— Мне тоже, — ответила я.

Микэле, устраивавшийся напротив, нахмурился.

— О чём вы? — спросил он, и в его тоне звучало искреннее непонимание. Не ревность. Просто отсутствие контекста. Он был капитаном команды, сыном Вито Виттори, парнем, который жил в мире действий, а не нюансов. Для него лекция была обязанностью, а не пространством для открытий.

— Лекция по юридическому праву, — ответил Лео.

— А, этот шизик Лидайн, — сказал Микэле.

Лео закатил глаза. В этом жесте было всё: терпение к другу, который никогда не поймёт, и принятие того, что понимать ему не обязательно. Их дружба держалась не на общих интересах. На общей истории. И этого было достаточно.

— Смотри, опять она, — сказал кто-то из команды, кивком указывая на вход в столовую.

Все взгляды, как по команде, устремились на новенькую. Она шла через зал, улыбаясь белоснежной улыбкой, розовые очки блестели в свете, каждый шаг был рассчитан на зрителя. Парни провожали её взглядом — жадными, оценивающими, голодными.

Кьяра оторвалась от телефона.

— Вам что, мозги всем мячом отшибло? — спросила она, и голос её был ровным, лишённым эмоций. Не крик. Не возмущение. Констатация. Диагноз, поставленный врачом, который устал видеть одну и ту же болезнь.

— Почему? — спросил кто-то из парней, не отрывая взгляда от новенькой. Вопрос был автоматическим, лишённым мысли.

— Потому что она будет строить из себя девственницу, когда в её вагине уже побывало полколледжа или школы, откуда она там, я не знаю, — сказала Кьяра, и каждое слово ложилось на стол как камень. Тяжёлое. Настоящее. Неоспоримое. — Хотите, чтобы яйца зудели — вперёд, трахните её в туалете.

Тишина за столом стала плотной. Парни замерли. Новенькая продолжала идти, не замечая, что только что стала объектом хирургического вскрытия.

Джек, вратарь команды, нахмурился.

— Ты просто завидуешь, Кьяра, — сказал он.

— Чему? — Кьяра не останавливалась. Взгляд её был прямым, холодным, абсолютно лишённым злобы. Только ясность.

— Тому, как на неё реагируют, — парировал Джек, пытаясь вернуть разговор в безопасное русло соперничества.

— Вырасти, Джек, — сказала Кьяра и закатила глаза.

В этом закатывании глаз было больше презрения, чем в любых словах. Презрения не к Джеку лично. К системе, которая заставляет взрослых мужчин вести себя как подростки, а взрослых женщин — играть в невинность. К миру, где внимание покупается розовыми очками, а правда называется завистью.

Софи молча ела салат, но её плечи чуть напряглись. Она не поддерживала Кьяру вслух. Но и не одёргивала. Она знала: эта грубость — форма защиты. Защиты того пространства за этим столом, где мы могли быть настоящими, пока весь остальной колледж играл в глянец.

Я смотрела на парней, которые постепенно возвращались к еде, бросая последние взгляды на новенькую. На Микэле, который уже забыл о лекции и смеялся над чьей-то шуткой. На Лео, который ел молча, сохраняя внутри то самое послевкусие сутры.

И понимала: этот стол — островок. За его пределами — сладкая вата, розовые очки и туалеты. Здесь — вино, стейки, закон как плоть и правда, которая называется своими именами.

После обеда мы разошлись по лекциям.

История. Менеджмент. Высшая математика.

Я не была ботаником. Мне не нужно было им быть. Знания ложились в голову не как информация для экзаменов, а как пазлы в уже существующую карту. Часы, проведённые в кабинете отца, когда он объяснял устройство бизнеса за сигарой и кофе. Разговоры с мамой об устройстве жизни, где этикет был не правилом, а языком выживания в высшем обществе.

История учила не датам, а циклам: кто приходит к власти, как удерживает и почему падает.

С девочками встретились у входа в колледж. Вечернее солнце ложилось на камень тёплым золотом, но воздух уже нёс предвкушение завтрашнего ритуала.

— Завтра вечер со всем бомондом Виера-Морры, — сказала Кьяра, и в её тоне звучала та самая усталость от неизбежного, которая всегда предшествовала светским выходам. Не страх. Не возбуждение. Признание факта.

— Да, и мы должны выглядеть соответствующе, — ответила. Не как обязанность. Как стратегическая необходимость. Внешний вид на таких мероприятиях был не эстетикой. Он был сигналом. Сообщением о статусе, настроении и готовности к игре.

— Лучше напиться брютом у бассейна, — выдохнула Кьяра, и в этом предложении была вся её честная тоска по настоящему. По пространству, где можно снять маску и быть просто собой, без зрителей и оценок.

Софи, стоявшая рядом, улыбнулась той самой мягкой улыбкой, которая всегда означала: я слышу тебя, и я знаю решение.

— Ты сможешь и на светском вечере напиться, — сказала она тихо.

Кьяра посмотрела на нас обеих.

— Смогу, если вы будете рядом, — сказала она.

В этой фразе не было слабости. Была абсолютная уверенность в своей страховке. Она могла позволить себе потерять контроль только потому, что знала: мы не дадим ей упасть. Наше присутствие было не компанией. Оно было гарантией безопасности. Пространством, внутри которого даже опьянение становилось актом доверия, а не риском.

Я кивнула. Без слов. Подтверждая: мы будем.

Завтрашний вечер был неизбежен. Бомонд, маски, ритуалы. Но внутри этого ритуала будет наше пространство. Где можно выглядеть соответственно. И при этом оставаться живыми.

Глава 3.3

Светский вечер, как обычно, проходил в историческом районе Виера-Морры. Ресторан «La Royal» в викторианском стиле требовал соответствия. Не эстетики. Кодекса.

Никаких глубоких декольте. Никаких рюш. Никакого оверсайза. Чистая, бескомпромиссная классика. Здесь одежда была не выражением индивидуальности. Она была пропуском.

Я выбрала платье цвета айвори. Не белое — слишком наивно. Не кремовое — слишком мягко. Айвори — цвет старой кости, страниц антикварных книг. Цвет, который говорил о времени, а не о моде.

Сверху — корсет. Жёсткий, структурированный, подтягивающий грудь не ради соблазнения, а ради силуэта. Он фиксировал осанку, напоминал телу о вертикали, не давал расслабиться ни на секунду. В нём невозможно было сутулиться, невозможно было забыть, где ты и зачем. Корсет был не бельём. Он был каркасом роли.

Внизу — шёлковая юбка в пол. Тяжёлая, текучая, скрывающая ноги полностью. Каждый шаг в ней требовал точности: ткань не прощала небрежности. Золотые босоножки были единственным акцентом внизу — тонкими ремешками, которые ловили свет, но не отвлекали внимание. Массивные серьги из золота обрамляли лицо, добавляя вес взгляду, но не перекрывая его.

Кудри. Правую сторону волос заколола невидимками, открывая шею и линию челюсти. Асимметрия была продуманной: строгость слева, живая текстура справа. Баланс между контролем и естественностью, который считывался подсознательно.

Я смотрела на себя в зеркало.

Не на девушку в красивом платье. На инструмент. Каждая деталь образа работала на одну задачу: войти в «La Royal» не как гостья, а как часть архитектуры этого вечера. Не выделяться. Не сливаться. Соответствовать.

Но пока я застёгивала невидимки, пальцы на долю секунды замерли. В памяти всплыло не отражение в зеркале, а другое ощущение. Тяжесть взгляда исподлобья. Ухмылка, которая сказала больше любых слов. Разряд, прошедший через тело, когда незнакомец прошёл мимо.

То ощущение было живым. Настоящим. Оно не вписывалось в этот корсет, в этот айвори, в этот кодекс ресторана. Оно существовало где-то под кожей, отдельно от образа, который я сейчас собирала.

Я выдохнула. Закончила причёску. Поправила серьгу.

Этот сбой остался внутри. Но сегодня я надевала форму, которая требовала обратного: разрешения быть частью системы. И я надевала её без сожаления. Без протеста. С тем самым холодным пониманием наследницы, которая знает: чтобы однажды перекраивать правила, нужно сначала научиться носить их безупречно.

Даже если под этой безупречностью уже пульсирует то, чему пока нет названия.

Я спустилась по лестнице.

Ступени были покрыты ковром, шаги бесшумны. Но они услышали. Или просто почувствовали.

Мама и отец ждали в холле. Не у двери. Не в гостиной. Именно здесь, под люстрой, где свет падал так, что не оставлял теней. Где каждая деталь была видна без искажений. Это было не место ожидания. Это была контрольная точка.

Мама посмотрела на меня. В её взгляде не было материнского восхищения. Было подтверждение соответствия. Код принят. Маска сидит правильно.

Отец стоял чуть в стороне, опираясь плечом о стену. Рубашка расстёгнута на две пуговицы — нарушение дресс-кода, которое он носил как привилегию. Его взгляд скользнул по

мне целиком, фиксируя не детали, а состояние. Осанку. Взгляд. Готовность быть функцией вечера, а не девочкой в красивом наряде.

Он кивнул. Коротко. Едва заметно.

Этот кивок был не комплиментом. Это был допуск. Подтверждение того, что инструмент исправен. Что наследница готова выйти на территорию, где каждый жест имеет цену.

Я остановилась на последней ступени. Почувствовала, как корсет фиксирует рёбра, как серьги добавляют вес голове, как юбка ложится тяжёлой волной. Тело помнило свою роль. Разум знал задачу.

Мы не обменялись словами. Не сказали «ты красивая» или «пора ехать». Слова здесь были лишними.

Мы были готовы.

Не к празднику. К выходу.

У входа в «La Royal», как обычно, была очередь из машин.

Чёрные седаны, тонированные стёкла, водители в перчатках, открывающие двери. Семьи выходили на свет, превращаясь из пассажиров в экспонаты. Ничего нового. Ритуал, отточенный десятилетиями. Мы вышли из машины, и отец мгновенно переключился в режим светской функции: рукопожатия, кивки, обмен ничего не значащими фразами с меценатами и чиновниками. Каждое приветствие было точным, выверенным, абсолютно лишённым содержания.

У самого входа стоял Лео. Рядом с ним — Мартин де Валуа.

Отец Лео не смотрел на людей оценивающе. Его взгляд не сканировал костюмы, часы или бриллианты на шеях жён. Он читал суть. Как рентген. Проходил сквозь ткань, золото и макияж, фиксируя то, что нельзя купить или надеть. Увидев отца, он уважительно улыбнулся — не дежурной улыбкой светского льва, а улыбкой человека, который видит равного.

— Здравствуй, Эдуардо, — сказал он.

— Здравствуй, Мартин, — ответил отец, пожимая руку. Пожатие было коротким, крепким. Без демонстрации силы. Сила здесь была в самом факте этого контакта.

— Вечер обещает быть томным, поэтому предлагаю сразу начать осушать бар, — сказал Мартин и засмеялся. Смех его был живым, настоящим, абсолютно неуместным для викторианского крыльца ресторана.

Отец тоже засмеялся. Смехом, который я слышала только дома, когда маски были сняты.

— Для приличия надо со всеми поздороваться, а то повторится девяносто пятый год, — сказал он, и в его тоне звучало то самое послевкусие общей истории, которая весит больше любого этикета.

Я нахмурилась. Не от непонимания шутки. От осознания того, что меня нет в этом контексте. Я знала правила этого вечера. Но эта история, этот смех, эта связь между двумя мужчинами, которые могли позволить себе смеяться на пороге самого строгого ресторана города, — это было пространство, куда мне пока не было входа.

Мама стояла рядом, улыбаясь. Лео ухмыльнулся — ухмылкой сына, который вырос внутри этой истории и знает её наизусть.

— О чём речь? — спросила я шёпотом, наклоняясь к маме. Голос был тихим, но в нём звучало не любопытство девочки. Запрос на допуск.

Мама прикрыла рот рукой, чтобы никто не видел, как она смеётся. Плечи её дрогнули. В этом жесте было столько живой, неприкрытой радости, сколько не бывало ни на одном светском приёме.

— Был примерно такой же вечер, — прошептала она, и глаза её сияли. — Мартин и отец напились. Ресторан закрылся. А они уснули на диванах.

Она сказала это так, будто рассказывала о подвиге. Не о нарушении правил. О моменте истины, когда две семьи стали одной, потому что позволили себе быть несовершенными вместе.

Я выпрямилась. Корсет зафиксировал осанку. Лицо вернулось в режим безупречности. Но внутри что-то сдвинулось.

Эта история была не анекдотом. Она была ключом. Ключом к пониманию того, что настоящая власть в этом городе держится не на соблюдении кодекса, а на праве иногда его нарушать — с теми, кому доверяешь абсолютно.

Мы вошли в «La Royal».

Зал встретил нас выверенным до миллиметра порядком. Столы расставлены с геометрической точностью. На каждом — карточка с фамилией, написанной каллиграфическим почерком. Фужеры блестели в свете хрустальных люстр, отражая его тысячами бликов. Официанты двигались бесшумно, их улыбки были чинными, одинаковыми, абсолютно лишёнными индивидуальности. Всё было безупречно. И всё было мёртво.

У одного из столиков стояла Кьяра с родителями. Её мать и отец общались с родителями Бьянки, нашей сокурсницы. Разговор тек плавно, вежливо, наполненными ничего не значащими фразами. По Кьяре было видно: она вот-вот начнёт зевать. Скука в её позе была не протестом. Диагнозом. Она видела эту пустоту так же ясно, как и я, но пока не научилась носить её так же тихо.

Софи уже сидела за своим столом с семьёй. Мило улыбалась. Кивала в нужных местах. Поддерживала светские разговоры с той самой безупречной грацией, которая была её формой защиты. Она не скучала. Она работала. Выполняла функцию, которую этот вечер требовал от неё.

Нас проводили к нашему столику.

Когда я увидела карточки на нём, плечи мои опустились на долю миллиметра. Мартин де Валуа. Лео. Мы сидели вместе.

Я выдохнула.

Не от радости. От облегчения признания. За этим столом мне не нужно было слушать разговоры про акции, фондовые биржи, кто какую сделку провернул и сколько миллионов прибавилось на счету. Не потому что эти темы были недостойны. А потому что они были таким же ритуалом, как и всё остальное в этом зале. Ещё одной маской. Просто более дорогой.

Мартин поднял взгляд. Увидел мой выдох. И в его глазах мелькнуло то самое понимание рентгена. Он не осудил. Не удивился. Он прочитал. Прочитал усталость от формы.

Лео чуть ухмыльнулся. Той самой ухмылкой человека, который знает: за этим столом можно не играть. Можно просто быть.

Отец занял своё место, расстёгнутый ворот рубашки оставался нарушением, которое никто не смел заметить. Мама села с безупречной осанкой, шёлк платья цвета вина лёг идеальной волной.

И впервые за вечер я почувствовала: здесь можно снять маску интереса к биржам. Не потому что это позволено правилами. А потому что люди за этим столом знают цену правилам. И знают, когда их можно отложить.

— Как в колледже? — спросил Мартин.

Вопрос был задан с той самой интонацией, которая превращала светскую вежливость в стратегический запрос. Он не спрашивал об оценках. Не интересовался расписанием. Он спрашивал о состоянии системы. О том, насколько точно инструменты калибруются.

— Всё хорошо, — ответил Лео. Без излишних подробностей. Для него этот вопрос был рутиной. Отчётом перед тем, чьё мнение было единственным компасом.

Мартин кивнул, принимая ответ. Затем повернул голову ко мне. Взгляд его был прямым, лишённым светского глянца.

— Лео сказал, у вас был тандем, — утвердил он.

Я встретила его взгляд. Не отвела. Не улыбнулась дежурно. Ответила с той самой холодной ясностью, которая была моим языком.

— Да, мы дополнили друг друга.

Дополнили. Слово было точным, как скальпель. Оно описывало не сотрудничество. Оно описывало функциональную целостность. Закон как скелет и справедливость как плоть. Техника де Валуа и суть Дель Рокко. Два элемента, которые по отдельности были сильны, но вместе становились системой.

Мартин молчал секунду. Оценивал не слова. Вес, стоящий за ними.

— Хорошо, — сказал он тихо. И затем, с интонацией, которая превращала предложение в привилегию: — Может, мне вас звать к себе в кабинет? А то старый глаз иногда замыливается.

Он подмигнул.

Это подмигивание было не флиртом. Это был код доступа. Признание того, что за этой самоиронией («старый глаз») скрывается абсолютная серьёзность предложения. Он не просил помощи. Он предлагал место. Место рядом с собой. В пространстве, где принимаются решения, формируются стратегии и читается суть вещей.

Отец, сидевший рядом, не посмотрел на меня.

— Это будет хорошая практика для них.

Слово, которое превращало приглашение Мартина из светского жеста в этап обучения. Отец подтверждал: это не одолжение со стороны де Валуа. Это следующий шаг в подготовке наследников.

Я сидела за столом, чувствуя, как корсет фиксирует осанку, как юбка лежит тяжёлой волной, как массивные серьги добавляют вес голове. Внешне ничего не изменилось. Я оставалась частью архитектуры этого вечера.

Но внутри произошёл тектонический сдвиг.

Меня только что пригласили не как дочь Эдуардо Дель Рокко. Не как студентку колледжа. Меня пригласили как линзу. Как инструмент, чья оптика признана ценной человеком, который видел мир без иллюзий.

И отец подтвердил: это не подарок. Это должное.

Разговор за столом тек ровно, касаясь нейтральных тем, пока у нашего столика не остановился Жан-Пьер Дюваль.

Меценат. Коллекционер. Человек, чьё имя звучало на каждом приёме, но чья репутация держалась не на заслугах, а на умении быть нужным в нужный момент.

Он улыбнулся — улыбкой, которая была слишком широкой для этого зала и слишком липкой для этого стола.

— Эдуардо, Мартин, какой приятный сюрприз видеть вас вместе, — начал он, и голос его был пропитан елеем. Затем его взгляд скользнул по мне, задержавшись на долю секунды дольше, чем позволял этикет. — А мадемуазель Дель Рокко сегодня особенно сияет. Слышал, вы делаете успехи в юриспруденции. Редкое сочетание красоты и ума в наши дни.

В этот момент мимо нашего стола прошла та самая новенькая. В вечернем платье, которое было чуть слишком открытым для «La Royal», с улыбкой, которая была чуть слишком яркой для этого освещения. Её появление рядом с нашим столом не было случайностью. Это был выход на сцену.

Дюваль проводил новенькую взглядом. Жадным, оценивающим. Затем снова повернулся ко мне, и в его тоне появилась та самая интонация, которая превращала комплимент в транзакцию.

— Знаете, мадемуазель, такие вечера созданы для того, чтобы молодые люди могли… обмениваться опытом. Уверен, вам было бы интересно пообщаться с новыми лицами. Например, с мадемуазель Лоран. Она только недавно в городе, но уже… заметна.

Я не отвела взгляд. Не улыбнулась. Просто зафиксировала его слова как материал для анализа.

— Что, по вашему мнению, подразумевается под «заметна»? — спросила я. Голос ровный. Интонация — запрос уточнения, а не вызов.

Дюваль, чувствуя себя на безопасной территории светской беседы, ответил уверенно:

— Подача. Яркость.

Он думал, что играет по правилам. Не знал, что правила только что изменились.

— То есть вы судите по обёртке? — спросила я. Всё так же ровно. Но в вопросе уже звучала сталь.

— Все судят, — парировал он, пытаясь вернуть разговор в привычное русло универсальных истин.

Я подняла бровь. Едва заметно. Жест, который весил больше любого крика.

— Обёртка может быть люксовой, а внутри гниль, — сказала я тихо, глядя ему прямо в глаза. И добавила, не повышая голоса, но с той самой интонацией, от которой кровь стынет в жилах: — Вам ли не знать.

Тишина.

Не неловкая. Абсолютная.

Дюваль замер. Улыбка осталась на лице, но глаза стали пустыми. Он получил не отказ. Не оскорбление. Он получил зеркало. Зеркало, в котором увидел не мадемуазель Дель Рокко, а самого себя. Того, чья люксовая обёртка давно стала общеизвестным фактом, а содержимое — предметом тихих разговоров в кабинетах, куда ему больше не было входа.

Мартин не шелохнулся. Отец продолжал есть, не поднимая глаз. Лео смотрел в тарелку, и лишь легкое движение скулы выдавало, что он слышал каждое слово.

Они не вмешались. Не защитили. Не одёрнули.

Они дали мне пространство. Пространство, в котором я могла использовать их молчание как усилитель.

Дюваль кивнул. Коротко, механически. Пробормотал что-то невнятное и растворился в зале, унося с собой остатки своего достоинства.

Новенькая продолжала свой путь по залу, не зная, что только что стала инструментом в тесте, который она не прошла. И который я прошла.

Мартин медленно поднял бокал. Отпил. Поставил. Его взгляд на меня был тем самым рентгеном, который теперь показывал результат.

Отец наконец поднял глаза. Посмотрел не на меня. На место, где только что стоял Дюваль. Затем перевёл взгляд на Мартина. Тот едва заметно кивнул.

Без слов. Без похвалы. Просто фиксация.

Практика началась.

И первый урок был усвоен не мной. Им.

К нам подсела Кьяра.

Не спросив разрешения. Не извиняясь за вторжение. Она просто заняла пустой стул рядом со мной, принеся с собой запах другого парфюма и ту самую энергию, которая всегда была антитезой этому залу.

— Кажется, этот островок реальный, — сказала она, окидывая стол взглядом. Не вопросом. Констатацией. Она только что подтвердила то, что мы все знали. Не потому что правила отменены. А потому что люди здесь выше правил.

Мартин повернул к ней голову. В его взгляде не было ни тени сарказма. Ни светского осуждения. Только тёплое, почти отцовское любопытство человека, который ценит правду больше, чем этикет.

— Обсуждения какого мотора лучше и сколько стоит сама яхта? — спросил он спокойно.

Кьяра закатила глаза.

— Ага, и у кого толще кошелёк, — добавила она, и в её тоне звучала честная усталость от фальши, которая была её суперсилой.

Отец улыбнулся. Не дежурно. Живо.

— Все разговоры про бизнес или про новеньких, будто не о чем больше поговорить, — выдохнула Кьяра, и голос её стал тише, но не менее прямым. — Простите. Просто хочется чего-то живого.

Она извинилась. Не за слова. За тон. За то, что позволила себе быть настоящей в пространстве, которое обычно требовало обратного. И это извинение было не слабостью. Оно было актом уважения к тем, кто сидел за столом.

— Мы всё понимаем, — сказала мама, улыбаясь. Улыбка её была не светской. Материнской, которая принимала Кьяру как свою. Как часть этого островка. Как девочку, которой позволено быть живой.

Кьяра посмотрела на Мартина и отца. Взгляд её был прямым, лишённым кокетства.

— Может, расскажете что-нибудь из вашей жизни? — спросила она. И добавила, не смягчая формулировку: — Я думаю, это интереснее, чем акции на бирже.

Мартин и отец улыбнулись.

Одновременно. Синхронно. Улыбкой мужчин, которые десятилетиями носили маски и наконец встретили тех, перед кем их можно снять. Не потому что они устали. А потому что доверяют.

Лео чуть расслабил плечи.

Отец отпил вина, поставил бокал и посмотрел на Кьяру.

— Хорошо, — сказал он, и в голосе его появилась интонация рассказчика. — Расскажу вам про две тысячи пятый. Когда я решил, что умнее рынка. А Мартин… Мартин был тем, кто потом смеялся громче всех.

Мартин тихо рассмеялся, покачав головой. В его смехе не было злорадства. Только тёплое признание общего прошлого.

— Мне было тридцать три, — продолжил отец. — Не мальчик. Но и не старик. Амбиций было больше, чем мудрости. И вот, нашёл «идеальную» сделку. Старый виноградник в Провансе. Хозяин — дедушка лет восьмидесяти, глухой как пробка, но с хитрыми глазами. Продавал за бесценок. Я подумал: джекпот. Подписал бумаги, отдал деньги, приехал принимать хозяйство.

Он сделал паузу. Кьяра подалась вперёд. Лео ухмыльнулся, явно зная финал.

— Приехал, — повторил отец. — А там… козы.

— Козы? — переспросила Кьяра.

— Триста коз, — подтвердил Мартин, и смех в его голосе был живым. — Дедушка продавал не виноградник. Он продавал козлиную ферму. В документах было написано «terre agricole avec cheptel vivant». Эдуардо прочитал «земля сельхозназначения». А «cheptel vivant» — это поголовье скота. Которое, согласно контракту, он обязан был содержать ещё пять лет.

Отец рассмеялся, заразительно.

— Представляете? Тридцатитрёхлетний амбициозный идиот в дорогом костюме стоит посреди поля, вокруг триста блеющих коз, денег нет, а дедушка машет ручкой из окна машины и уезжает в Ниццу пить пастис. А я звоню Мартину, который тогда только получил назначение в суд, и говорю: «Ты юрист, найди лазейку!» А он мне отвечает: «Эдуардо, ты подписал контракт. Лазейка есть только одна — научиться доить коз».

Кьяра фыркнула. Затем засмеялась. Громко, искренне. Мама прикрыла рот рукой. Лео качал головой.

— И что вы сделали? — спросила Кьяра.

— Что мог, — ответил отец, и смех уступил место стали. — Остался. Пять лет кормил, доил, лечил этих коз. Нанимал пастухов, учился делать сыр. Через три года мой козий сыр стал лучшим в департаменте. Через пять — я продал ферму втридорога. Не как убыточный актив. Как бренд.

Он посмотрел на Кьяру. Прямо. Серьёзно.

— Знаешь, чему меня научили те козы? Не читать документы быстрее. А слышать то, что не написано. И ещё одному: когда ты стоишь по уши в дерьме, единственный человек, который скажет тебе правду вместо утешения, — это тот, кому ты доверяешь абсолютно. Мартин не стал искать лазейку. Он заставил меня пройти через это. Потому что знал: урок стоит дороже, чем выход из ситуации.

Мартин кивнул, добавляя тихо:

— Закон не всегда спасает. Иногда он просто показывает, где ты ошибся. А умение смеяться над собой, когда ты заслужил этот провал, — это топливо. Те, кто не умеет, ломаются под весом собственного эго. Те, кто умеет, строят империи на руинах своих иллюзий.

Тишина за столом была живой.

Кьяра смотрела на них широко раскрытыми глазами. В её взгляде было признание. Признание того, что эти мужчины прошли через то, о чём другие читают в книгах. Один — через коз. Другой — через верность принципу, даже когда друг просил помощи.

Я сидела рядом, чувствуя, как эта история ложится в меня не как развлечение. Как урок. Урок о том, что настоящая близость — это не утешение. Это правда. Даже если эта правда пахнет козьим молоком и стоит пять лет жизни.

Отец поднял бокал.

— За коз, — сказал он тихо.

— За коз, — подхватил Мартин.

Мы все подняли бокалы. Звон хрусталя был тихим. Но эхо этой истории останется со мной навсегда.

Смех ещё не успел осесть в воздухе, когда к нашему столику подошёл Вито Виттори.

Он двигался с выверенной точностью человека, который всегда оценивает расстановку сил. За улыбкой — расчёт.

— Добрый вечер, господа, — произнёс он, и голос его был тем самым баритоном, который звучал на всех приёмах Виера-Морры. Приятным. Вежливым. Абсолютно деловым. — Простите, что прерываю ваше веселье, но не мог пройти мимо столь прекрасной компании.

Отец и Мартин изменились мгновенно. Улыбки стали светскими со стальным подтекстом. Расстёгнутый ворот отца словно застегнулся сам собой. Мартин перестал быть другом. Стал судьёй де Валуа, чей взгляд снова превратился в рентген.

Островок схлопнулся.

Вито повернул голову ко мне и Лео. Взгляд скользнул по мне — фиксирующе.

— Мартин, твоему сыну чертовски повезло сидеть по правую руку от прекрасной Амаэль, — сказал он, и в обращении по имени звучала не теплота, а инвентаризация. — Молодость и красота — великая сила. Надеюсь, вы, молодые люди, унаследуете от нас не только наши вкусы, но и умение вовремя завершать старые дела.

Пауза. Слова осели. Послание было доставлено не нам. Отцам.

Затем он перевёл взгляд на Мартина.

— Мартин, как продвигаются дела в суде? — спросил он с искренним интересом. И тут же, не давая открыть рот, добавил с той же улыбкой: — Впрочем, не отвечай. Сегодня вечер отдыха.

Наконец, он посмотрел на отца.

— Эдуардо, рад, что ты в добром здравии, — сказал он тихо. И в этом «здравии» было больше веса, чем в любом тосте. Фиксация статуса. Подтверждение альянса. — Увидимся позже.

Он кивнул. Развернулся. Ушёл.

Не попрощавшись с нами. Не дождавшись ответа. Оставив после себя тишину, которая была плотнее любого разговора.

Кьяра выдохнула. Лео едва заметно расслабил плечи. Отец и Мартин переглянулись. Без слов. В этом взгляде было всё: он пришёл. Он обозначил. Он ушёл.

Я сидела неподвижно, чувствуя, как внутри меня что-то окончательно встало на место.

Вито Виттори не был гостем. Он был операцией. И только что провёл её безупречно.

Вечер прошёл как обычно.

Разговоры. Улыбки. Кивки. Ничего нового. Всё как всегда. Только теперь я видела за каждым кивком — сделку. За каждой улыбкой — оценку. За каждым разговором — то, что осталось несказанным.

Домой мы приехали ближе к полуночи.

Машина остановилась у крыльца. Отец вышел первым, расстёгнутый ворот рубашки снова стал просто деталью одежды, а не декларацией. Мама поправила перчатку, шёлк платья цвета вина в свете подъездной лампы выглядел так же безупречно, как и шесть часов назад. Мы поднялись по ступеням молча. Корсет я сняла в своей комнате, чувствуя, как рёбра наконец вздыхают. Юбка легла на спинку стула тяжёлой волной. Массивные серьги вернулись в шкатулку.

Маска была снята. Но ощущение от неё осталось на коже.

Я лежала в кровати, глядя в потолок. В тишине дома ещё пульсировало эхо вечера. Смех отца и Мартина. Холодная точность Вито. Пустая вежливость Дюваля. Живая дерзость Кьяры. Тихое понимание Софи. Усталая расслабленность Лео.

Все они были частью одного механизма. И я тоже.

Завтра новый день.

Колледж. Лекции. Новенькая в розовых очках. Микэле с его глянцевой уверенностью. Подготовка к матчу. Зачёты. Светские обеды. Разговоры про акции и моторы яхт.

Всё будет как обычно.

Теперь я буду слышать то, что не написано. Теперь я буду знать цену каждому кивку и каждой улыбке.